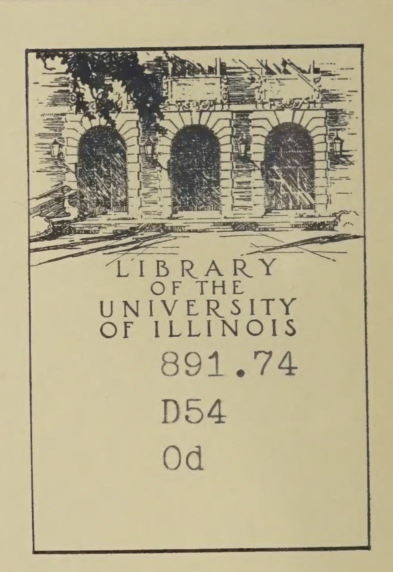
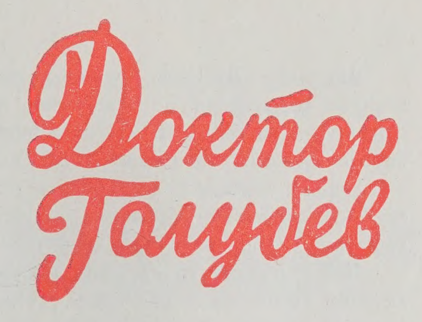
ВЛАДИМИР ДЯГИЛЕВ

Доктор Голубев



ВЛАДИМИР ДЯГИЛЕВ



ПОВЕСТЬ

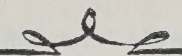
Советский
писатель
Ленинград
1961

Владимир Дягилев пришел в литературу в послевоенные годы. Врач по профессии, участник Великой Отечественной войны, В. Дягилев пишет о том, что ему хорошо знакомо, что пережито им самим.

Первая повесть В. Дягилева «Гвардейцы» была посвящена советским хирургам, творящим свой незаметный подвиг в напряженной фронтовой обстановке.

Действие повести «Доктор Голубев» происходит в военном госпитале в наши дни. Тяжелый недуг грозит смертью солдату Сухачеву. Военный врач Голубев готов сделать все для спасения жизни молодого воина. Но не всем в госпитале приходятся по нраву решительные действия Голубева, не все одобряют смелые, новаторские методы лечения, которые он предлагает.

Борьба нового, передового со старым, косным, отживающим свой век, но не сдающим позиций без сопротивления, без боя — таков сюжетный стержень произведения.



1

Ирина Петровна Гудимова сидела у своего рабочего стола. Настольная лампа под зеленым абажуром освещала бланки анализов.

Сегодня в отделении спокойно. Тяжелых нет, больные спят.

Все шесть палат пятого терапевтического расположены по одну сторону коридора, по другую — широкие окна на проспект. Сейчас и в коридоре и за стеклянными дверями темно, лишь синие лампочки — по одной на палату — светятся скупым светом.

Ирине Петровне сквозь набегающую дремоту все вокруг кажется погруженным в голубую воду, только два огня — ее и рыженькой Аллочки, сестры второго поста, — как два бакена на широкой реке.

Тихо. Только изредка кто-то крикнет во сне, кто-то позовет, кто-то застонет. Все звуки здесь по-особому гулкие. Где-нибудь внизу скрипнет дверь — и слышно. В соседней

палате забормочет больной — слышно. Аллочка разлиновывает тетрадь — слышно, как мягко скрипит карандаш. На улице дождь, и слышно, как осторожно подвывает ветер за окном и дождинки стучатся в стекло.

Ирине Петровне холодно; поверх халата она накинула шерстяную вязаную — своей работы — кофту. Пока есть свободное время, нужно переписать анализы в истории болезни. Переписать не как-нибудь, а красиво. А то опять начальник станет ворчать. Тяжелый характер у начальника: придирается, всем недоволен. Очень он изменился за последние годы. Ирина Петровна помнит, как пятнадцать лет назад, когда она впервые пришла в госпиталь, он встретил ее в этом же коридоре, подал сухую руку и, не выпуская ее руки, повел к себе в кабинет, усадил в кресло, заставил выпить стакан чаю «за компанию», расспросил обо всем, ободрил, обещал помогать. Тогда она была молоденькая, только что закончила фельдшерскую школу. И начальник был совсем другой — с черными густыми бровями, добрый, покладистый. Сейчас брови у начальника седые, лохматые, и характер такой же лохматый, взъерошенный — все ему не так... Да, время идет. Ирина Петровна вспомнила, как первый раз она делала укол вот в этой же сто седьмой палате — и сломала иглу. Перепугалась, со слезами бросилась в кабинет к начальнику. Он успокоил,

пошел вместе с ней к больному и сам сделал укол...

Зазвонил телефон. Ирина Петровна подбежала к аппарату.

— Да. Слушаю. Дежурная сестра Гудимова. Хорошо, приготовлю. Минуточку. А что у него? Так. Все ясно.

Возвращаясь к своему столу, Ирина Петровна заметила вопросительный взгляд Аллочки.

— Звонили из приемного. Ожидается тяжелый больной. Просили подготовить место.

2

Дежурный терапевт Леонид Васильевич Голубев стоял у окна. В темном стекле отражалась его широкоплечая, приземистая фигура в белом халате. Черные волосы заправлены под белую докторскую шапочку. Ровная белоснежная полоска подворотничка врезалась в мускулистую загорелую шею.

На улице шел мелкий осенний дождь. Перед окном, поскрипывая, раскачивался уличный фонарь, и ветер гонял из стороны в сторону по большой морщинистой луже его неровный желтый отблеск.

Голубев устал, но спать не ложился. Сегодня — его первое дежурство в госпитале. Почти десять лет назад он закончил медицинский институт в Сибири. Много испытал и пережил

на фронте. Занимал большие административные должности. А после войны потянуло его на лечебную работу, выполнять то дело, ради которого он учился. С огромными трудностями ему удалось попасть сначала в маленький гарнизонный госпиталек, затем на лечебный факультет Военно-медицинской академии. Он окончил факультет в тысяча девятьсот пятидесятом году, и его назначили ординатором в один из крупнейших военных госпиталей.

О дежурстве Голубев узнал неделю назад. Вчера вечером он еще раз перелистал учебники по терапии Ланга, Зеленина, прочитал справочник по неотложной терапевтической помощи, готовился, как к серьезному испытанию, даже немного волновался.

И вот дежурство кончается, а ничего особенного не произошло. Больные поступали несложные: с язвенной болезнью, с гипертонией, с эмфиземой легких. Два солдата с пневмонией — вполне ясные, что называется студенческие случаи. Он быстро во всем разобрался. Было даже немного обидно, что не пришлось ни над чем призадуматься.

По проспекту, шипя колесами, прошел последний троллейбус.

Дождь усиливался. Молодое деревцо, должно быть тополь, высаженное на проспекте прошлой весной, гнулось на ветру, снова распрямлялось и опять гнулось. «А ведь и оно

борется за свою жизнь. Борется с ветром», — подумал Голубев.

В дверь громко постучали. Вошла сестра приемного покоя.

— А вы, оказывается, не спите?

— Не хочется что-то.

— К вам тяжелого привезли.

— Ну что ж, давайте. — Голубев энергично потер руки.

3

Скрипнула дверь. Показался шофер и за ним краснощекий круглолицый сержант. Они внесли больного. Больной лежал на носилках, с головой укутанный в стеганый спальный мешок. По тому, как надулись вены на больших руках шофера, шедшего первым, как он напрягался, наклоняясь вперед и приподнимая плечи, можно было понять: ноша тяжелая.

Больного пронесли через вместительный, залитый мягким светом зал ожидания в кабинет терапевта. Шагов почти не было слышно: пол покрывали ковры.

— Кладите его сюда, на топчан, — распорядилась сестра. — Спальный мешок оставьте на носилках. Здесь тепло. Шинель снимите.

Когда стали снимать шинель, больной застонал приглушенно и протяжно. Голубеву

бросились в глаза синие губы больного, точно он только что ел чернику.

— Вы сопровождающий? — спросил Голубев сержанта.

— Так точно. Гвардии сержант Быстров.

— Тогда подождите в зале.

Сержант и шофер, осторожно ступая, вышли из кабинета.

Голубев сел подле больного, спросил:

— Ваша фамилия?

— Сухачев.

— Имя, отчество?

— Павел... Данилович...

Голубев заметил, что больной часто и поверхностно дышит. Дыхание шумное, и крылья носа раздуваются при вдохе. «Носокрыльное дыхание, — отметил Голубев. — При каких заболеваниях оно встречается?» Он отогнал эту мысль: «Не надо спешить, иначе запутаюсь».

Голубев оглядел больного. Перед ним лежал атлетически сложенный юноша. Его светло-карие глаза лихорадочно блестели, лицо раскраснелось, и над верхней губой и на щеках золотился пушок, и брови — густые, пшеничного цвета — тоже золотились, придавая всему лицу какое-то сияющее выражение.

— На что жалуетесь? — деловито спросил Голубев.

— Тут, — Сухачев растопырил пальцы и ткнул себя в грудь всей пятерней.

— Что больно? Как больно? Ноет, давит, жмет? Когда болит?

Сухачев отвечал с трудом, морщился, глухо покашливал.

— Сержант! — позвал Голубев.

Вошел сержант, смущенно огляделся — он не знал, как держаться в этой ослепительно чистой комнате, и на всякий случай снял пилотку.

— Слушаю вас, товарищ...

— Гвардии майор, — подсказал Голубев.

— Слушаю вас, товарищ гвардии майор.

— Расскажите-ка, товарищ Быстров, как заболел ваш солдат.

Сержант поправил ремень.

— Значит, так...

Это случилось три дня тому назад. Молодые солдаты-понтонеры учились наводить переправу под огнем «противника». Задача была условной, но ее требовалось выполнять так, как выполняли бы на войне. На самой середине реки один солдат поскользнулся, упал в воду, начал тонуть. Поблизости находился Сухачев. Он, не раздумывая, кинулся в ледяную воду и спас товарища.

— Вот и все, товарищ гвардии майор.

— А как утопающий? — осведомился Голубев и с уважением посмотрел на Сухачева.

— Здоров, — ответил сержант. — А вот Сухачева взяло. Сначала трясло, потом в жар бросило. Воспаление легких, что ли. Так наш врач говорит.

— Разберемся... Благодарю вас. Можете ехать.

Сержант повернулся к двери, остановился в раздумье.

— Что еще?

— Как, товарищ гвардии майор, скоро он поправится?

— Вот этого я не знаю.

Сержант мял пилотку, щеки его еще больше покраснели, сделались совсем пунцовыми.

— Вы уж постарайтесь, товарищ гвардии майор. Поправьте солдата.

Сержант ушел. Сестра вынула термометр из-под руки больного, поднесла к лампочке, прищурила глаза.

— Сколько? — спросил Голубев.

— Тридцать девять и две.

Голубев с помощью сестры раздел Сухачева до пояса, уложил на спину. От больного веяло жаром, все его тело было покрыто крупными каплями пота, будто он выкупался и еще не успел обсохнуть. Сестра обтерла его полотенцем. Голубев взял руку больного — на ней был выколот синий якорек — и долго не мог нащупать пульса. Наконец нашел где-то в глубине — едва уловимый, неровный, частый.

Сухачев на минуту прикрыл глаза; ему приятно было ощущать прикосновение мягких, холодных докторских рук.

Внимательно осмотрев больного, Голубев решил, что у него действительно воспаление легких. Но было в Сухачеве еще что-то такое,

что заставило Голубева насторожиться: уж очень тяжелое состояние и пульс плохой.

Голубев задумался. Взгляд его встретился со взглядом больного. Глаза Сухачева, казалось, блестели еще ярче, в расширенных зрачках горели золотые огоньки — отражение лампочки — и виднелась маленькая фигурка доктора в белом халате и белой шапочке. Глаза эти были полны ожидания и затаенной тревоги. Голубев постарался не выдать своей неуверенности, спокойно встал и распорядился:

— Сестрица, мыть не нужно. Перемените белье и везите больного в пятое отделение. Пусть положат его ко мне, в сто седьмую палату.

Сухачева уложили на каталку и повезли. Голубев сел к столу, принялся заполнять историю болезни.

Но ему не сиделось. «Что-то здесь не так! Даже для крупозной пневмонии больной выглядит очень плохо. А у него и для крупозной пневмонии данных нет. Почему такая высокая температура, одышка, синие губы, слабый пульс? Почему так «отяжелел» этот крепкий юноша за три дня? Как бы мне тут не ошибиться».

Голубев оставил историю болезни, поднялся на третий этаж, в свое отделение.

Сухачев еще лежал на каталке. Над ним склонилась Ирина Петровна. Подойдя ближе, Голубев услышал его просьбу:

— Душно... Поднимите меня повыше...

— Сейчас, голубчик, сейчас, — успокаивала Ирина Петровна и позвала: — Василиса Ивановна!

Из палаты вышла няня — маленькая, толстая, круглая, с короткими руками. С ее помощью Ирина Петровна подняла больного повыше.

— Вы не очень устали? — спросил Голубев больного.

— Нет... ничего...

— Тогда разрешите, я вас еще послушаю?

Сухачев молча согласился.

Голубев еще раз осмотрел больного. Но ответа на свой вопрос так и не нашел.

— Сестрица, дайте химический карандаш, — попросил Голубев и тут же предупредил больного: — Я вас немножко разрисую. Это легко ототрется спиртом.

По поведению врача Сухачев понял, что он не может определить болезнь. Ему захотелось ободрить врача.

— А нельзя ли вовнутрь? — спросил Сухачев.

— Что вовнутрь? — не понял Голубев.

— Да спирт. — Сухачев попытался улыбнуться: передернул бровями и тотчас застонал от боли — брови сошлись, образуя на лбу и переносье глубокие морщины.

И тут Голубев по-настоящему осознал, насколько тяжело болен этот человек. Очень тяжело, если даже улыбнуться не может.

— Спирт найдем, — в тон шутке отозвался он. — Вот только поправиться надо.

Голубев определил границы сердца, отметил их карандашом. Карандаш не потребовалось смачивать: кожа была влажной. Сердце больного билось глухо, с перебоями. Его биение напоминало робкий стук в дверь. Постучит тихонько и торопливо и подождет ответа. Постучит и подождет.

— Сестрица, скажите, чтобы взяли кровь и сделали рентген грудной клетки.

— Лаборанта я уже вызвала. Рентгенолог ожидает больного.

— Вот и отлично. Везите.

— Не ввести ли ему камфору? — осторожно спросила Ирина Петровна.

— Да, да. Камфору вместе с кофеином...

И рентген, и анализ крови ясности не внесли. Голубев, взволнованный и недовольный, вернулся в свой кабинет, закончил историю болезни. Оставалось написать диагноз — всего несколько слов. Но от этих слов будет зависеть все — лечение, уход, жизнь человека.

Что же все-таки у больного?

Голубев четким, красивым, прямым почерком написал диагноз: центральная пневмония; хотел приписать что-нибудь о сердце и поставить знак вопроса. Так делают некоторые врачи. Но ему показалось это нечестным: ведь он не знает, что у больного. И Голубев ничего не приписал о сердце.

На улице было пусто. Все так же раскачивался фонарь. Моросил дождь. Мокрый асфальт блестел, как стекло. Желтые дрожащие отблески уличных фонарей пересекали дорогу. И только в доме напротив в одном окне все горел свет.

4

Перед тем как отправиться в палату, полагалось сдать на хранение дежурной сестре документы и ценности.

Сухачев вынул из карманов свое «имущество»: два носовых платка, бумажник, несколько писем из дому, записную книжку и карандаш.

— Давайте, голубчик, я вам помогу, — предложила Ирина Петровна.

Сухачев отрицательно покачал головой, попросил, чтобы его подняли повыше. Он сдал сестре красноармейскую книжку. Все остальное сложил в платок, завязал крест-накрест, сунул под голову.

— Везите, — приказала сестра.

Санитары взялись за каталку и повезли больного в палату. Ирина Петровна полистала красноармейскую книжку. Там лежала фотография с зубчатыми краями. Сестра поднесла ее к настольной лампе. С фотографии смотрела красивая девушка с чуть вздернутым носиком и комсомольским значком на

груди. «Должно быть, невеста», — подумала Ирина Петровна.

Санитары укладывали Сухачева на койку.

— Повыше... поднимите меня повыше... — просил он санитаров.

— Василиса Ивановна, принесите еще подушек, — распорядилась Ирина Петровна.

Сухачева уложили, он как будто успокоился. Санитары и няня ушли. Ирина Петровна осталась возле койки. Сухачев часто дышал, и при каждом вдохе брови вздрагивали: он сдерживался, чтобы не застонать.

— Полечат — легче будет. Это пройдет, голубчик, — говорила Ирина Петровна, легонько дотрагиваясь до плеча Сухачева.

Через час больному сделалось хуже. Он метался, ловил открытым ртом воздух.

— Аллочка, сходи за кислородом, — попросила Ирина Петровна, выходя из палаты.

— Вот еще! У меня своих дел...

— Сходи за кислородом.

Ирина Петровна сказала это таким властным тоном, что рыженькая Аллочка быстро вскочила и побежала в ординаторскую.

— Начальника надо вызвать, — сказала Аллочка, возвращаясь и подавая Ирине Петровне серую упругую подушку с кислородом.

На отделении было так заведено: когда бы ни поступил тяжелый больной, о нем обязательно докладывали начальнику. Но сегодня Ирине Петровне не хотелось звонить

начальнику. Она видела, что Голубев так и не установил точно, что́ у больного. Начальник станет ворчать, первое дежурство молодого врача будет омрачено. Ирина Петровна сделала вид, что не расслышала Аллочку.

Кислород немного облегчил состояние больного. Но через некоторое время Сухачеву вновь стало хуже. И тогда Ирина Петровна, оставив подле больного санитарку, пошла к телефону.

Сначала в трубке раздавались протяжные гудки, затем послышался сухой кашель, хрипловатый голос:

— Слушаю.

— Товарищ начальник, докладывает Гудимова.

— Что случилось?

Ирина Петровна обо всем рассказала.

— Какой диагноз?

— Центральная пневмония.

— Гм... центральная.

Трубка молчала.

— Кто дежурит?

— Майор Голубев.

— Гм... Понятно.

Снова молчание.

— Так что делать, Иван Владимирович?

— Сердечные вводили?

— Да. Кислород даю. Еще что?

Иван Владимирович покашлял, что-то пробурчал и положил трубку.

5

В углу квадратной комнаты стояли большие старинные часы. Высокий дубовый футляр выцвел от солнца и времени, стал серым и походил на каменную глыбу. Бой у часов — сердитый и короткий; не успевая разрастись, он таял, утихал и прятался в своем ложе. А все звуки в этой комнате казались приглушенными, осторожными, пугливыми. Входная дверь обита войлоком и клеенкой, щели в рамах заткнуты ватой, стены в коврах, на полу ковры, — они впитывали, поглощали все звуки.

Эта комната — рабочий кабинет Ивана Владимировича Пескова. Перешла она к нему по наследству от отца — тоже врача.

Кабинет пережил революцию, войны, блокаду и остался почти таким же, каким был полвека назад, точно толстые каменные стены и выцветшие ковры уберегли его от влияния времени.

Иван Владимирович неоднократно намеревался переделать свой кабинет, но, оглядывая огромные шкафы, набитые старыми книгами, массивную люстру, дубовый, как бы впаянный в пол, стол с бронзовыми сфинксами и старинным чернильным прибором, оттоманку, покрытую потертым персидским ковром, облезлую медвежью шкуру, на которой он, еще мальчишкой, любил лежать и молча смотреть, как отец, сутулясь, пишет или

читает, — оглядывая все это, напоминающее об отце и детстве, таком близком сердцу, Песков с грустью откладывал переустройство своего кабинета на будущее.

Однако и сюда, в этот «медвежий уголок истории», просачивалась современная жизнь: на столе рядом с бронзовым сфинксом появился телефон, на оттоманке лежали свежие газеты, а в углу над часами был прибит маленький красный флажок — это внук Ивана Владимировича, Валерик, в праздник Первого мая проник к дедушке в кабинет и оставил свой подарок.

В эту ночь Иван Владимирович тоже не спал. Он сидел за своим рабочим столом в домашнем теплом поношенном халате, в валенках, шевелил лохматыми бровями и, склонив набок большую круглую голову, покрытую реденькими седыми волосками, точно прислушиваясь к чему-то, покашливал и что-то бормотал. Иногда он хватал авторучку и быстро, бочком писал своим неразборчивым докторским почерком. Чаще всего он обрывал фразу на полуслове, скрипя пером, зачеркивал написанное, сердился:

— Не то. Ересь! — и снова как будто прислушивался.

Когда он сердился, то лицо его, уши, шея краснели и даже на голове сквозь реденькие волосики просвечивали красные пятна.

Перед ним лежала стопка бумаги. Бумагу Иван Владимирович нарезáл сам, «по старинке», восьмушкой, как привык нарезать еще с гимназических лет. Тут же стоял стакан черного кофе в серебряном подстаканнике. Иван Владимирович любил во время работы пить кофе.

Он работал уже несколько часов и все не мог закончить статью о гастритах, которую заказал ему медицинский журнал.

Зазвонил телефон, коротко и негромко. «Кто же в такой поздний час?» Иван Владимирович прикрыл халатом грудь, кашлянул, взял трубку.

Рассказ Ирины Петровны его чрезвычайно взволновал. Прежде всего потому, что дежурил сегодня его подчиненный, молодой врач, который может растеряться и не оказать нужной помощи. Опасения Ивана Владимировича подтвердил диагноз: «центральная пневмония». Доклад сестры о тяжелом состоянии больного никак не вязался с диагнозом. Иван Владимирович видел на своем веку сотни «центральных пневмоний», и все это было не то, о чем рассказала сестра. Может быть, она ошиблась, преувеличила? Нет, Ирина Петровна — опытная сестра. Иван Владимирович верил ей, как себе.

Интуицией, «...надцатым» чувством, как он сам любил говорить, Иван Владимирович понял, что с больным что-то не совсем обычное.

Он встал, почти бесшумно прошелся по кабинету. На ковре, наискосок от стола к часам, была вытоптана серая дорожка — Иван Владимирович любил ходить в минуты раздумья.

Сейчас он думал о том, как ему поступить. Положиться на молодого врача? Правда, Голубев способный человек: хорошо подготовлен, любознателен, легко схватывает и усваивает все на лету, за спиной у него опыт войны и факультет Военно-медицинской академии. И все же Иван Владимирович испытывал чувство беспокойства, которое, он знал, не даст ему уснуть.

Быстро переодевшись, он вызвал санитарную машину и вышел из кабинета.

Ирина Петровна не удивилась приходу начальника. За пятнадцать лет работы он приходил по ее звонку не раз. Но сегодня он был почему-то не в духе. Пришел в отделение и сразу же заворчал:

— Что это у вас так ужасно дверь хлопает?

А дверь всегда немножко хлопала, и ничего ужасного в этом не было.

— И в кабинете еще не убрали. Грязь...

А в кабинете всегда убирали утром, до прихода начальника.

Ирина Петровна молчала. Зачем оправдываться, если у старика плохое настроение?

По привычке она помогла ему завязать халат и повела в сто седьмую палату.

Аллочка, завидев начальника, встала и торопливо спрятала локоны под косынку.

Сухачев дышал кислородом. Он полулежал в постели, откинув голову на подушки. Свет синей лампочки падал на него сверху, отчего лицо казалось особенно бледным, а золотистые брови — зеленоватыми.

Песков сел на табурет, услужливо подставленный нянечкой, взял руку больного.

Сухачев открыл глаза, вздрогнул. Перед ним сидел белый старик — белые волосы, белые брови, белый халат и глаза тоже белые, бесцветные. Он покашливал и что-то бурчал себе под нос. Сухачев весь сжался, насторожился, стал выжидать. Но белый старик не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста, и это успокоило Сухачева. Он пришел в себя и понял, что это — доктор.

Начался осмотр. Он был мучительным и неприятным для Сухачева. И руки у этого доктора были острые, костлявые. Сухачев терпел, крепился. «Значит, мне и в самом деле плохо, — думал он. — Иначе бы не пришел этот белый старик».

Песков долго его крутил, несколько раз заставлял садиться, поворачивал то на один, то на другой бок, вставал на колени и слушал не трубкой, а просто ухом. Сухачев близко видел это ухо — большое, покрытое белыми волосками.

Окончив осмотр, белый старик похлопал Сухачева по плечу и тяжело поднялся с колен.

В этот момент в палату, распахнув дверь, вошел молодой доктор с приятными, мягкими руками, тот, что принимал Сухачева.

Белый старик даже не взглянул на молодого доктора, ничего не сказал и вышел из палаты.

В своем кабинете Песков сел в кресло с потертыми подлокотниками, взял у сестры историю болезни Сухачева и долго ее читал.

Голубев стоял у стола, ждал, когда начальник пригласит его сесть. Но начальник словно не замечал его присутствия. Тогда Голубев спросил:

— Товарищ полковник, разрешите сесть?

Песков кивнул и жестом велел Ирине Петровне уйти. Песков и Голубев остались вдвоем. Начальник все продолжал листать историю болезни, не глядя на Голубева. «Испытывает мое терпение», — решил Голубев. Он смотрел на Пескова с уважением: старик не поленился приехать ночью. Так может поступить только настоящий, любящий свое дело врач. И в то же время Голубев ожидал неприятного разговора: «Я, очевидно, ошибся, и начальник укажет на ошибку».

— Н-да, почерк у вас неразборчивый, — наконец произнес Песков.

Голубев пожал плечами. Никто не жаловался на его почерк. Да и стоило ли сейчас об этом толковать! Он промолчал.

Песков поднял голову, выжидательно посмотрел на блестящую пуговицу голубевского кителя, пошевелил бровями и, не услышав возражений, вновь склонился над столом. Голубев видел, как под белыми реденькими волосками на голове начальника покраснела кожа.

«Не хочет меня обидеть. Ищет, как бы помягче начать разговор», — подумал Голубев.

— Я, наверно, ошибся, товарищ начальник? — спросил Голубев.

— Гм... Вот именно, молодой человек, — Песков еще сильнее покраснел и тут же поправился: — Ошиблись, товарищ майор...

— У больного, возможно, поражено сердце, — полуутверждая, полуспрашивая сказал Голубев.

— Да-с, справедливо изволили заметить.

Голубев пропустил иронию мимо ушей.

— Что же все-таки у больного? — спросил он негромко.

— Острый перикардит, — ответил Песков и, видя, что молодой врач огорошен, с удовольствием повторил: — Да-с, выпотной перикардит!

— Я тоже предполагал, что у него задето сердце, — деловито продолжал Голубев. — Я даже хотел поставить сердечный диагноз.

— Так почему же... — Песков хлопнул ладонями по столу.

— Но я не был в этом уверен.

— Поставили бы под вопросом.

— Видите ли, товарищ начальник, — сказал Голубев после паузы, — ставить диагнозы под вопросом безусловно можно. Но я лично не очень люблю это делать. Иногда под вопросом скрывается трусость врача, желание перестраховаться, а некоторые просто прикрывают свое незнание.

Голубев заметил, как у начальника побагровели уши, а лохматые брови сошлись на переносье. «Чего это он ощетинился?»

— Я помню такой случай, — продолжал Голубев. — Был у нас уважаемый старый врач...

Песков с силой, всей ладонью, нажал на звонок. Вбежала Ирина Петровна.

— Поставьте больному пиявки, — приказал Песков, натягивая на себя ту привычную личину маститости, в которой он обычно пребывал в отделении.

— Куда, Иван Владимирович?

— Куда? Гм... На сердце, конечно.

Он сделал попытку улыбнуться, показывая вставные тусклые зубы.

— Вы, Леонид Васильевич, можете идти. Благодарю вас за приятную беседу.

— Слушаюсь.

Голубев встал, почтительно поклонился и твердым шагом вышел из кабинета.

6

Сто седьмая гвардейская палата, как ее с гордостью называли больные, — светлая и чистая. Благодаря широким окнам, сводчатому высокому потолку, нежно-голубой масляной краске, покрывавшей стены, палата казалась выше, вместительнее, воздушнее, чем была на самом деле. В палате десять коек: пять слева от дверей, пять справа. Между койками тумбочки, перед койками табуреты. Все выкрашено белой краской. И когда сюда заглядывает солнце, то все начинает сиять, лучиться, по стенам и потолку бегают золотистые зайчики, паркетный, натертый до блеска пол пересекает слепящая дорожка.

Жизнь в палате начиналась с шести тридцати утра. Приходила дежурная сестра, измеряла температуру.

Первым просыпался старшина палаты Кольцов — рослый, загорелый, с остроугольным шрамом на левой щеке. Он встряхивал головой, делал несколько резких движений руками — «разминался» — и садился на койке.

Так было и в это утро. Кольцов оглядел палату хозяйским глазом. Кровати стояли ровными рядами, как в строю, аккуратно свернутые синие госпитальные халаты лежали на табуретах. Только один халат был не свернут, а брошен комком. «Опять Лапин. Вот растрепа! — возмутился Кольцов. — Все стишки в башке».

Тут старшина заметил новенького. Он лежал на груде подушек на крайней койке у дверей. Кольцов слегка ткнул в бок своего соседа:

— Семен, проснись маленько.

Хохлов лежал, накрывшись с головой простыней, и даже не пошевелился.

— Семен! — настойчиво повторил Кольцов.

Из-под простыни показалась рыжая голова, курносый нос в веснушках.

— Чего тебе-е? — сквозь зевоту протянул Хохлов.

— У нас новенький.

— Ну и пущай, я не возражаю.

Из другого конца палаты послышался приглушенный стон. Друзья вскочили и поспешили к новенькому.

Тот дышал так, точно за ним кто-то гнался.

— Чего надо? — спросили друзья в один голос.

— Пить.

Оба кинулись к графину, налили воды. Новенький пил медленно, постукивая зубами по кружке. Пока он пил, друзья не отрывали глаз от его лица: оно было бледным, и золотистые брови особенно подчеркивали эту бледность, ввалившиеся глаза казались большими и горящими глубоким внутренним огнем.

Напившись, новенький отдал кружку, поблагодарил.

— Откуда прибыл, товарищ? — поинтересовался Хохлов.

— С Подъемной...

— А я с Гремино. Твоя как фамилия?

— Сухачев...

— А моя — Хохлов. А что у тебя болит?

— Грудь.

Хохлов крутнул головой и ободрил:

— Поправишься. У нас доктор мировой. Меня тоже на носилках привезли. Ревматизм прицепился. А теперь вот, — он быстро присел у кровати и так же ловко поднялся. — Видел?

— Худо, — пожаловался Сухачев, пожаловался впервые за все дни болезни. Этот рыжий парень сразу вызывал симпатию.

— Ясно. Болезнь и поросенка не красит, — согласился Хохлов, — но это дело временное.

Кольцов, все время молчавший, взял друга за локти и слегка подтолкнул: дескать, иди, парню не до разговоров. Хохлов не обиделся, тряхнул рыжей головой, задорно улыбнулся Сухачеву и вернулся к своей кровати. А Кольцов склонился над новеньким, деловито сообщил:

— Я — старшина палаты. Ежели что нужно, обращайся ко мне.

— Спасибо...

Кольцов бросил взгляд по сторонам, склонился еще ниже:

— Брусничного варенья хочешь? Мне из дому прислали...

С подъема вся палата знала: прибыл тяжелый больной. Товарищи без лишнего шума выходили в коридор на физзарядку. «Разноса», который хотел учинить Лапину старшина, не получилось.

— Т-сс, — предупредил Кольцов. — В палате тяжелый. А впредь укладывайте халат как положено. Нянек здесь для ходячих нет.

В палате остались Кольцов и Сухачев. Сухачев тревожно поводил горящими глазами и спрашивал:

— Где он... где?..

— Кто?

— Старик.

Кольцов оглядел палату:

— Какой старик?

— Белый.

«Бредит», — подумал Кольцов.

— Никакого белого старика нет и не было. Это я — Кольцов. Слышишь?

Сухачев долго, пристально смотрел на Кольцова:

— Нет... был.

Пришла Василиса Ивановна, на деревянном подносе принесла завтрак.

— Бредит, — зашептал ей на ухо Кольцов. — Глядеть надо. Я пойду умоюсь.

Василиса Ивановна понимающе прищурила глаза. Лицо у нее было простое, доброе.

— Сынок, может, поешь? — спросила она Сухачева.

Сухачев отказался. Василиса Ивановна украдкой вздохнула.

— Ну, хоть умойся. Я оботру тебя.

Она взяла полотенце, смочила его теплой водой, обтерла больному лицо, шею, руки.

— Был он... или нет? — спросил Сухачев.

— Кто, сынок?

— Белый старик.

— Нет. Никакого старика нету. Прогнали его, сынок. Прогнали.

«Неужели бред? — подумал Сухачев. — Неужели начинает мерещиться?» Он сделал над собой усилие, поднял голову:

— Няня, давай... Есть буду...

— Ну, слава тебе... Слава тебе... — засуетилась Василиса Ивановна.

...Обход в этот день начался раньше обычного. Гвардии майор, не приняв рапорта старшины, сразу прошел к Сухачеву. Он долго осматривал Сухачева, а остальные больные внимательно наблюдали за действиями врача. Никто не проронил ни звука.

Голубев, к удивлению своему, отметил, что сердце Сухачева стало как будто больше: границы его расширились, и новые карандашные метки не совпадали с теми, что он оставил ночью. Теперь и для него диагноз был вполне ясен: выпотной перикардит. Начальник прав. Между мышцей сердца — миокардом — и оболочкой, покрывающей эту мышцу, — перикардом — накапливается жидкость. Она капканом сдавливает сердце, не дает ему правильно

работать, питать организм. Важно знать, какая это жидкость.

Подумать Голубеву не пришлось. Вошел начальник. Больные встали. Песков не обратил на них внимания.

— Давайте его в процедурную, — приказал он Голубеву.

Услышав его хрипловатый голос, Сухачев открыл глаза. В них был испуг и удивление. Перед ним, в длинном халате, прямой как свеча, стоял белый старик.

— Вы?

— Гм... я.

Сухачев замотал головой и застонал на всю палату...

— Знаешь, Семен, у меня появилась дельная мысль, — сказал Кольцов. — Давай устроим около него дежурство. Народ у нас на поправке. Время есть. А парню веселее будет, да и сестрам нужен помощник.

— Неплохо, — одобрил Хохлов. — Вот как народ? Дело добровольное.

Кольцов вышел на середину палаты:

— Есть такое предложение...

Он вызвал товарищей в коридор и сообщил, что он задумал.

— Кто против?

Против никого не было. И с этого дня возле Сухачева товарищи по палате установили добровольное дежурство.

7

Аркадий Дмитриевич Брудаков готовился стать кандидатом медицинских наук. Кандидатский минимум он сдал. Диссертацию написал. Оставались мелкие поправки и защита. Защиты он не боялся. К ней все было подготовлено. Оппоненты попались доброжелательные, у самого Аркадия Дмитриевича «язык был хорошо подвешен», — так что он надеялся на полный успех. Все шло гладко. Все шло как нельзя лучше.

Защита была назначена на 15 сентября.

В начале июля, в один из ясных и теплых вечеров, после работы Аркадий Дмитриевич поехал в универмаг покупать зеленую велюровую шляпу. Аркадий Дмитриевич был убежден, что без зеленой велюровой шляпы кандидат — не кандидат. Это был первый пункт его «плана жизни» на ближайшее время: купить шляпу, а потом защитить диссертацию и жениться.

В троллейбусе было душно. Аркадий Дмитриевич решил пройтись по главной улице.

Настроение у Аркадия Дмитриевича было превосходное. Он запел вполголоса, что случалось с ним чрезвычайно редко, лишь в особые минуты подъема:

Что день грядущий мне готовит?
Та-та, та-та, готови-ит. . .
Паду ли я, стрелой пронзенный?
Та-та, та-та, пронзенный. . .

Он никогда не знал мелодии и вечно путал слова.

На мосту Аркадий Дмитриевич встретил знакомого врача. Он не помнил даже его фамилии. Они виделись раза два, сдавая кандидатский минимум. Знакомый имел отметинку — родинку на самом кончике носа.

— Ты ничего не знаешь? — спросил знакомый, хватая Аркадия Дмитриевича за рукав. — Тебе известно, что в Москве сейчас проходит объединенная сессия Академии наук?

— Конечно, коллега.

— А ты понимаешь, что это значит? Наша защита переносится. Ситуация! Необходима дополнительная работа в свете учения Ивана Петровича Павлова...

Он продолжал говорить, но Аркадий Дмитриевич его больше не слушал, в голове была только одна мысль: «Защита откладывается».

Знакомый сунул Аркадию Дмитриевичу руку и зашагал дальше, обдумывая, кому бы еще рассказать свою ошеломляющую новость.

Аркадий Дмитриевич долго стоял на мосту, навалившись грудью на перила, смотрел, как по реке плывут лодки с веселыми парочками, как блестят на солнце мокрые весла. Мимо проходила группа девушек. Они громко смеялись. Одна из них в цветастой легонькой косынке стрельнула глазами в сторону Аркадия Дмитриевича:

— Рыбку подманивает?

Девушки еще громче засмеялись. Аркадий Дмитриевич бросил на них недружелюбный взгляд и поплелся к дому.

Покупка шляпы отменялась.

Два дня Аркадий Дмитриевич переживал известие об изменении срока защиты диссертации. Советовался с товарищами, со своим начальником — Иваном Владимировичем Песковым, с оппонентами. Никто ничего толком не знал. Все были взволнованы не меньше его. Так прошел июль. В августе положение стало проясняться. Вернулись участники сессии, выступали с докладами, разъясняли смысл дискуссии. Между оппонентами начались споры о том, как перерабатывать диссертации в свете учения Ивана Петровича Павлова. Одни говорили, что надо все переписывать заново, другие — что достаточно внести поправки в текст и «перелицевать шапку».

Пока между оппонентами шли «методические споры», Аркадий Дмитриевич решил, что самое разумное — переждать, отдохнуть. В сентябре он взял очередной отпуск и уехал в Кисловодск.

Чисто выбритый, надушенный, аккуратно подстриженный, с лицом шоколадного цвета, явился Аркадий Дмитриевич 18 октября на службу. Отрапортовав начальнику отделения о прибытии, он старательно пожал протяну-

тую руку и поставил на стол небольшой деревянный ящичек.

— Что это?

— Маленький подарочек, — пропел Брудаков. — С Кавказа, Иван Владимирович.

— Зачем? Что вы?

— Нет, нет, Иван Владимирович. Я очень прошу, — от усердия уши Брудакова покраснели. — Это ваше любимое. Груши.

Песков старался принять строгий вид, но нижняя губа его отвисала и вздрагивала в довольной улыбке.

— Гм... благодарствую, — он еще раз подал руку Брудакову.

Они сели и долго болтали о погоде, о дороге, о ценах на фрукты. Говорили они с удовольствием, как два человека, понимающие друг друга.

— Как с диссертацией? — поинтересовался Песков.

— Необходимо внести павловские идеи.

— Каким образом?

— Есть тут один вариант, — ответил Брудаков небрежно, хотя не имел понятия, что станет делать. Но признаться в этом не пожелал. Начальник должен верить в его силу.

Песков одобрительно кивнул головой.

— А у нас прошлой ночью прибыл тяжелый больной. Молодой наш товарищ не разобрался, пришлось приехать.

— Кто же это?

— Майор Голубев.

— Я ведь его плохо знаю. Ну, как он тут?
— Гм...
Рассказать о новом ординаторе Ивану Владимировичу не пришлось: в кабинет вошел сам Голубев. Песков тотчас переменился, нахмурился, покосился на ящичек.
— Я к вам, товарищ начальник, по поводу Сухачева.
— Что? Сухачева? — голос Пескова стал суше и резче.
— Будем ему вводить пенициллин или нет?
— Все, что нужно, я записал в историю болезни. Ваше дело выполнять.
— Да, но после пункции...
Вбежала Аллочка:
— Товарищ начальник, вас просят в лабораторию.
Песков встал и вышел из кабинета.
Несколько секунд ординаторы молчали.
— Я слышал, у вас тяжелый больной? — сказал Брудаков.
— Да, с выпотным перикардитом. Только что делали пункцию, получили гной.
Брудаков наклонился к Голубеву, покосился на дверь, посоветовал:
— Вы осторожнее, коллега. Старик не любит, когда его тормошат.
Голубев оглядел товарища: свежее лицо, пухлые губы, серые глаза и короткие бакенбарды.
— Не понимаю вас, — сказал он. — Я старика уважаю, приказы выполняю безогово-

рочно, но о лечении моего больного я могу иметь свое мнение и отстаивать это мнение?

— Дорогой коллега, я вам добра хочу. Я знаю старика как пять пальцев. Видите, он к вам не очень...

Вошел Песков. Голубев встал. Брудаков остался сидеть, положив ногу на ногу.

— Так что́ вы хотите? — бросил Песков через плечо, проходя к своему столу.

— Я хочу знать, товарищ полковник, будем вводить Сухачеву пенициллин или нет?

— Гм... — Песков пробурчал что-то невнятное.

— Простите, не понял.

— Я говорю, несите сюда историю болезни. Я подпишу.

— Слушаюсь.

8

Перед обедом сто седьмую гвардейскую навестил Петр Ильич Бойцов. Чувствовалось, что он не врач и не медицинский работник. Халат он надел задом наперед, так что спина была закрыта, а грудь открыта — виднелись начищенные пуговицы и орденские колодочки. Ходил он тоже не как медик — слишком шумно, хотя и старался ступать осторожно, на носок.

Тем не менее больные встретили его как старого доброго знакомого. Он приветливо улыбнулся, обнажая ровный ряд белых зубов, поздоровался. Потом подошел к койке Сухачева, подал руку Василисе Ивановне.

Сухачев дремал. Его лицо с заострившимися чертами было спокойным, большая мускулистая рука лежала на груди. Утром ему сделали укол в сердце. Что-то оттуда выкачали (врачи говорили — какой-то «пус»), и теперь стало немного легче — можно было забыться.

Почувствовав около себя человека, Сухачев открыл глаза.

— Разбудил я вас. Извините, — стараясь приглушить свой басовитый голос, сказал Бойцов.

— Нет, ничего. Я не спал.

— А чего не спится-то?

— Болею.

— Плохо, да?

— Нет, получше.

Бойцов улыбнулся. Улыбка у него была приятная, задорная, посмотришь — и самому хочется улыбаться.

— Может быть, письмо домой написать?

Сухачев отказался:

— Не хочу мать расстраивать.

— Тогда извините. Забежал с вами познакомиться.

Когда Бойцов попрощался со всеми и, громко стуча сапогами, ушел из палаты, Сухачев спросил Василису Ивановну:

— Кто это был?

— Это, сынок, секретарь партийный. Всего нашего госпиталя секретарь.

9

Дождь не прекращался. Он моросил вторые сутки подряд — мелкий, холодный, противный. Все вокруг помрачнело — дома, деревья с голыми ветвями, машины. И люди, казалось, тоже посерели, поблекли. Они спешили, шлепали по лужам, прикрываясь зонтиками, старались побыстрее спрятаться в домах, в подъездах, в троллейбусах и трамваях.

Лишь Голубев шел неторопливо, не прятался от дождя. Он находился под впечатлением прошедших суток. Весь день он чувствовал себя в чем-то виноватым. В палате с больными, в разговоре с начальником, с товарищами он еще как-то рассеивался. А сейчас, выйдя из проходной, он остался один на один с собственной совестью.

Чем кончилось его дежурство, которого он так ждал, к которому так готовился? Кончилось все тем, что он не установил диагноза тяжелому больному, не разобрался, недодумал.

И это было очень неприятно и досадно.

Домой Голубев приехал в сумерки. Обе дочки сидели за столом. Валя читала вслух, зажав уши ладонями. Наденька рисовала, покачивая головой и мусоля карандаш. Девочки были очень похожи друг на друга, обе курносые, обе с ямочками на щеках, одетые в синие платья в горошек, с красными бантами на русых головках. Отличались они лишь ростом

и глазами. У Вали глаза были голубые, задумчивые, у Наденьки — карие, мамины, очень живые.

— Папочка! — крикнула Наденька и, бросив свое занятие, кинулась к отцу.

Валя заложила букварь линейкой и уж только потом подбежала к отцу. Из-за перегородки, разделявшей комнату пополам, вышла Наташа, в ситцевом сарафанчике, в домашних туфлях на босу ногу.

— Леня, что с тобой? — удивленно спросила она.

— А что?

— Ты же в халате и весь мокрый.

Голубев оглядел себя — под шинелью, действительно, был халат, он забыл снять его и оставить на вешалке.

— Устал, Тата.

Жена помогла ему раздеться, взяла шинель и фуражку, вынесла на кухню — посушить у газовой плиты.

Дочери облепили Голубева с двух сторон и, перебивая друг друга, принялись рассказывать о вчерашней телевизионной передаче. Устал не устал — с ними нужно заняться. Они ждали папу, им нет никакого дела до его настроения. Раз папа — будь папой: слушай, рассказывай, играй.

— Лошади ка-ак побегут! — кричала Наденька. Она всегда кричала, чтобы не дать говорить старшей сестренке. Валя и не пыталась перебивать ее: голос у Наденьки звон-

кий, все равно не перекричишь. — Злая баба ка-ак упадет! И Лушка тоже ка-ак упадет! Они нехоррошие, да, папа?

Наденька совсем недавно выучилась выговаривать букву «р» и теперь старалась применять свое умение где надо и где не надо.

Голубев погладил ее по русой головке, подумал: «Милые вы мои, ничегошеньки-то вы еще не знаете». Он сел, усадил дочек на колени:

— Постойте. Не нужно кричать. Расскажите спокойно, какая передача, как она называется?

Наденька не могла не кричать — и совсем замолчала. В разговор вступила старшая. Она встала, одернула платье и, поглядывая на телевизор, стоявший на специальном столике в углу, сказала:

— Передача называется «Чудесный колокольчик». Это мульти... мульти... — на ее курносом личике появилось такое смущение, что Голубеву пришлось срочно прийти на помощь:

— Мультипликационный.

— Вот-вот, — подтвердила Валя и облегченно вздохнула.

Рассказав свои впечатления, она снова забралась к отцу на колени. А Наденька теребила его за пуговицу и спрашивала:

— Папочка, а ты денежки заработал?

Это была детская хитрость: заработал денежки — значит, купи конфетку. Голубев не

удержался от улыбки. Он вынул из кармана конфеты «Мишка на севере» и поднял руки вверх:

— Доставайте.

Наденька с визгом вскочила на ноги, прямо к нему на колени. Валя подставила стул и повисла у него на руке. Голубев встал:

— А ну-ка!

Поднялся шум, смех. Девочки карабкались на него, стараясь схватить за руки. Голубев увертывался. Он забыл про все неприятности, смеялся вместе с ними, потом схватил девочек в охапку и, крича и шумя не меньше их, принялся кружиться по комнате.

Появления Наташи никто не заметил. Она остановилась в дверях, полюбовалась на свое семейство и сказала негромко, но властно:

— Девочки, папа устал. Он есть хочет.

Девочки, получив по конфете, успокоились, уселись на диване и стали спорить, чей «Мишка» лучше.

Наташа накрыла стол. Голубев умылся, надел домашнюю лыжную куртку, причесал назад гладкие, блестящие волосы и сел на свой стул, спиной к окну. Наташа подсыпáла ему в суп мелкие белые сухарики — он так любил — и молчала. По виду мужа она поняла, что на службе что-то произошло, но при детях не хотела расспрашивать.

Девочки, не слыша разговора взрослых, тоже приумолкли, насторожились, не понимая,

почему папа и мама молчат: поссорились или что?

После обеда Наташа распорядилась:

— Девочки, папа будет отдыхать. Идемте отсюда.

— А на скрипке? — спросила Валя. Она первый год училась в музыкальной школе.

— Занимайся. Ты не помешаешь, — разрешил Голубев.

Наденька пошла к соседской девочке играть в куклы. Голубев лег.

После бессонных суток в голове у него шумело, тяжелые веки сами собой слипались, и вместе с тем острая мысль не давала покоя: «Да, я ошибся, черт возьми. Но что теперь делать?» Голубев закрыл глаза и ясно представил Сухачева — он тяжело дышит и просит: «Поднимите меня повыше».

Валя за перегородкой играла на скрипке и вполголоса подпевала:

...Савка и Гришка
Сделали дуду,
Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Ой, ду-ду, ду-ду...

Пела она лучше, чем играла. Смычок попадал сразу на две струны, вытягивая нечистые, скрипучие звуки.

— Фальшивишь, — сказал Голубев.

Валя остановилась и после паузы заиграла старательнее, чище.

Голубев опять задремал. И снова перед глазами Сухачев: у него вздрагивают брови, синие губы шепчут: «Пить, пить...»

Голубев перевернулся на другой бок. Из-за перегородки донеслось:

...Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду...

— Фальшивишь! — крикнул он раздраженно. — Не скрипка, а немазаная телега.

Валя замолчала, послышалось тихое всхлипывание. «Зачем я на нее кричу? — осудил себя Голубев. — При чем она?»

— Отдохни, Валюша, ты устала.

Донесся легкий звон (скрипку бросили на диван), радостный топот, хлопнула дверь — Валя убежала.

И тут Голубев подумал, что больной может погибнуть, если не принять срочные, решительные, какие-то особые меры.

Он быстро встал и оделся.

— Куда ты, Леня? — спросила Наташа, входя в комнату.

Он заметил беспокойство в ее глазах.

— Ничего особенного, Тата, — успокоил он. — Просто у меня тяжелый больной. Надо навестить его.

— Обязательно сейчас?

— Да, нужно.

Она притянула его за локоть, усадила рядом с собой:

— Ты правду говоришь?

— Правду.

Он взял ее руку и поцеловал. От руки пахло детским мылом. Она запустила пальцы в его волосы, спросила:

— Что же все-таки произошло?

— Ну, честное слово, ничего особенного.

Он коротко рассказал о своем дежурстве.

— И это все?

— Да.

— Но ошибки могут быть у кого угодно. Тем более — при амбулаторном приеме.

— Не в этом дело, Татка. Ты сама врач и понимаешь, что такое гнойный перикардит... Если я недодумал ночью — то теперь-то я знаю диагноз и обязан вести себя решительно. Это дело моей врачебной совести.

— Но что ты можешь сделать?

— Еще не знаю. Но я хочу спасти больного, так хочу, как никогда в жизни. Меня это задело...

Наташа посмотрела на мужа завистливым взглядом и сдержанно вздохнула. Она очень хотела бы сейчас быть на его месте, так же переживать, волноваться, работать. Но вот уже второй год она не работает: после того, как уехала мама, ей пришлось бросить работу и заняться детьми. Наташа как будто примирилась со своей судьбой. Но этот разговор вновь растревожил ее.

Голубев надел фуражку, привычным жестом — ребром ладони — проверил, посредине ли звездочка, поцеловал жену и отправился в госпиталь.

10

К вечеру Сухачеву стало хуже. Появились одышка и прежние боли в груди. Около него установили индивидуальный пост; это означало, что к больному прикрепили сестру и няню — Ирину Петровну и Василису Ивановну. Им помогали выздоравливающие больные.

Вечером дежурил Лапин — смуглолицый паренек. Он сидел у изголовья, смотрел в противоположный угол палаты и монотонным голосом рассказывал о прелестях родной крымской природы. Кроме него и няни, в палате никого не было. Свет погасили. Только синяя лампочка горела над дверью. Было тихо. По коридору проходили больные в синих госпитальных халатах да иногда быстрым шагом пробегала сестра.

Сухачеву вспомнилось детство и родные края. Он так ясно видел свое село, словно шел по его широкой улице, протянувшейся вдоль извилистой бойкой речушки Знаменки. Вон школа, в которой он учился семь лет. Перед самым его уходом в армию школу покрыли железом. Он вместе с другими ездил за железом на станцию. Напротив школы новенький клуб. Его отстроили только этой весной к Первому мая...

— А море!.. Ты видел море? — слышится голос Лапина.

«Нет», — хочет ответить Сухачев и не успевает. Лапин продолжает говорить, точно рас-

сказывает не ему, а себе. Течет, переливается, как ручеек, его напевный, приятный голос:

— Море очень большое, очень красивое, на горизонте оно встречается с небом. Море темнее — си́нее, небо светлее — голубое. Граница между ними ровная-ровная. А сколько оттенков в море! То оно стального цвета, то светло-зеленое у берегов, светло-синее вдали, все в золотых переливах...

Сухачеву показалось, что он покачивается на волнах. Вспомнилось открытие клуба. Шла картина «Кубанские казаки». Он сидел рядом с Настей, взяв ее за руку. Рука у Насти была горячая, и тепло от нее передавалось ему и расплывалось по всему телу. В тот вечер он собирался ей сказать, что любит ее и женится, вот только отслужит срочную. Да не сказал. Не выбрал удобной минуты... Сухачев видит, как его провожают в армию. Он едет с первым красным обозом. На улице полно народу. Играет баян. Весело, шумно. Девушки поют частушки. Никто не плачет. Лишь мама стоит в сторонке и утирает глаза концами черного полушалка. А Настя, поглядывая в его сторону, звонко поет:

Взяли милого в солдаты,
Взяли ягодиночку,
Раскололи мое сердце,
Как на речке льдиночку.

Сухачев открыл глаза и тотчас зажмурился: зажегся свет. В палату вошел доктор. Су-

хачев его знает. Его зовут Леонид Васильевич. Сухачев ему приветливо улыбнулся. Леонид Васильевич не ответил — или не заметил, или улыбки у Сухачева не получилось.

Голубев в сопровождении сестры быстрым шагом подошел к Сухачеву, наклонился над ним, пожал его руку повыше локтя:

— Как себя чувствуете?

Утром Сухачеву было очень плохо. Он начал бояться своей болезни, думал: «Все. Конец тебе, Павел». Но потом ему сделали прокол — доктора называли это пункцией, — и стало лучше. Теперь, хотя ему опять стало хуже, он уже не боялся своей болезни, он знал: есть пункция — средство облегчения. Поэтому на вопрос своего доктора он ответил шутливо: оторвал от кровати руку — рука была необычно тяжелой — и показал большой палец.

— Молодец, — похвалил Голубев, обрадованный тем, что дух больного не сломлен.

Он приступил к осмотру. Движения его были быстрыми и уверенными, не такими, как в приемном покое: они должны были убедить больного в том, что доктор знает все, что ему надо делать, и поэтому не может быть никакого сомнения в благополучном исходе болезни.

— Все хорошо, все хорошо, — сказал Голубев, окончив осмотр, что-то шепнул сестре и вышел из палаты так же быстро, как и появился.

Хотя он и ободрял больного, мысли Голубева были нерадостными. Тяжелое заболевание, которым страдал Сухачев, должно было окончиться печально. Гной между мышцей сердца и оболочкой в конце концов сдавит сердце, и выход будет один: операция. Обычно в таких случаях вскрывают перикард, выпускают гной и таким образом спасают больного от смерти. Спасают, но ненадолго. Вскоре после операции больному начинает грозить новая, не меньшая опасность: между мышцей сердца и его оболочкой образуются плотные спайки, сердце покрывается как бы панцирем — в медицине оно так и называется: «панцирное сердце». Панцирь сдавливает сердце, не давая ему работать в полную меру, в ту меру, которая необходима для нормальной жизни человека. Клетки и органы тела недополучают кровь, наступают явления, именуемые недостаточностью кровообращения. А затем — смерть. Мучительная, медленная, но верная смерть.

«Неужели медицина наша так бессильна и так немощна, что не может помешать болезни? — думал Голубев. — Нет, нет. Нужно что-то сделать».

Ему казалось, что он упускает время, необходимо действовать немедленно. Голубев решил позвонить Пескову, посоветоваться.

Послышался кашель, хрипловатый голос сказал:

— Слушаю.

— Докладывает гвардии майор Голубев.

Голубев рассказал о состоянии больного, о своих сомнениях, попросил совета.

— Гм... Делайте так, как я написал, — недовольным голосом отозвался Песков.

— Но больному хуже, мы упускаем дорогие часы...

— Не поднимайте паники, не беспокойте больного лишний раз... Да-с...

И трубку повесили.

Паники? Нет, Голубев не поднимает паники. Странно, почему начальник не желает его понять? Почему он сердится? «Делайте так, как я написал». Голубев полистал историю болезни, прочел запись начальника. Ничего особого, ничего нового: пенициллин внутримышечно, сердечные, кислород, разгрузочные пункции... «Действительно, не сделать ли ему разгрузочную пункцию? Надо будет поговорить с хирургами».

И Голубев направился к хирургу.

Старший хирург Николай Николаевич Кленов — высокий, крепкий старик в роговых очках, в белой шапочке на бритой голове — только что закончил операцию. Лицо его еще было прикрыто маской, руки — в йоде. Он стоял в предоперационной и разговаривал со своим ассистентом.

Голубев остановился в стороне, ожидая, когда они закончат разговор. Он слышал, о чем они говорили.

— Можете не беспокоиться, дорогой товарищ, — говорил Николай Николаевич своим дребезжащим баритоном. — Можете не беспокоиться. Пенициллин, дорогой товарищ, замечательное средство. Кокковую инфекцию он глушит...

Ассистент, видимо, что-то хотел возразить. Николай Николаевич не дал себя перебить, направил свой толстый, круглый палец, похожий на ствол пистолета, в грудь ассистенту и продолжал:

— Я вот... Я говорю, я вот неделю тому назад оперировал точно такого же. Вскрыл брюшину, а там — гной. Перитонит, дорогой товарищ. Перитони-ит! — протянул он и поднял палец вверх, словно готовясь выстрелить. — Промыл. Влил туда пенициллин и... Вы посмотрите, больной в одиннадцатой палате как огурчик...

«А почему бы и нам не попробовать то же?» — мелькнула у Голубева новая мысль. Он хотел немедленно бежать к себе в отделение, к своему больному, но его остановил Кленов:

— Чем могу служить? Извините, руки не подаю — еще не мыл после работы...

— Я, видите ли... Я, товарищ полковник, по такому делу...

Николай Николаевич мизинцем поправил очки, попутно сдернул с лица марлевую маску и, вероятно спутав Голубева с кем-то, начал энергично отказываться:

— А? Вы о занятиях? Я же сказал, что не могу. Занят по горло, дорогой товарищ.

— Нет, нет. Я по вопросу о пенициллине.

— Ах, о пенициллине, — Николай Николаевич, сразу подобрев, взял Голубева за локоть и потянул в свой кабинет.

Кабинет старшего хирурга был забит таблицами, диаграммами, рисунками. Они висели на стенах, были сложены на диване, торчали из-за шкафа. Всюду — на подоконнике, на этажерке, на шкафу — стояли стеклянные банки, в которых хранились заспиртованные препараты — дело рук Николая Николаевича. В углу стоял скелет человека. На столе были расставлены шахматы. Увидев шахматы, Голубев удивился. Так на первый взгляд не вязались рисунки, препараты в банках и скелет — с аккуратно расставленными старенькими шахматами.

— Слушаю вас, дорогой товарищ, — сказал Николай Николаевич, когда они сели за стол друг против друга.

Голубев ударил себя кулаком по колену, что бывало у него в минуты волнения.

— Я хотел спросить: при гнойных перикардитах вам не приходилось применять пенициллин?

Николая Николаевича, видимо, удивил этот вопрос. Он снял очки и, держа их перед собой, не сразу ответил:

— Не пробовал, дорогой товарищ.

— А как вы считаете, в принципе, можно попробовать? — подаваясь всем корпусом вперед, спросил Голубев. — Даст он такой же эффект, как при перитоните?

— Насчет эффекта не знаю. Я же сказал — не пробовал. А в принципе... — Николай Николаевич роговой дужкой очков почесал за ухом, поморщился. — В принципе, почему же нет?

Голубев машинально взял с шахматной доски фигуру, повертел ее в руках, задумался и, твердо решив про себя, что Сухачеву нужно вскрыть перикард, выпустить гной и влить туда пенициллин точно так же, как это делает Николай Николаевич при перитонитах, — со стуком поставил фигуру на место.

— Вы играете? — оживляясь, спросил Николай Николаевич, заметив в руках Голубева фигуру.

— Немножко.

Голубев сказал это, думая совсем о другом. В выражении лица Николая Николаевича сразу появилось что-то молодое, задиристое, и не успел Голубев опомниться, как он уже сделал первый ход.

Николай Николаевич играл с юношеским азартом, разгоревшиеся глаза его так и бегали по доске, в руках он крутил очки.

«Раз в принципе правильно, — думал Голубев, — значит, нужно попробовать. Только быстро. Дорог каждый день, каждый час».

— Ваш ход, — поторапливал Николай Николаевич, — очень долго думаете, дорогой товарищ.

«Все взвесить, — рассуждал Голубев, поспешно делая очередной ход, — посоветоваться с Песковым...»

— Черные, черные, ваша очередь.

Николай Николаевич впился глазами в доску. Большая, оголенная до локтя рука с собранными в щепотку пальцами висела над фигурами, и, как только партнер делал ход, он на несколько секунд задумывался, все не опуская руки, потом решительно, рывком переставлял фигуру и вновь начинал торопить партнера.

«А что, если начальник не согласится? — Голубев вспомнил недавний неприветливый разговор по телефону. — Нет, нет. Почему не согласится? Все равно больному грозит смерть. А тут хоть какая-то надежда».

— Ход, ход.

Николай Николаевич наклонился над доской так низко, что носом едва не касался фигур. Он, казалось, готов был сам сделаться фигурой и стать на свободную клетку.

— Ага! — закричал он восторженно, хватая в кулак черную пешку. — Пешечка есть! — и засмеялся счастливым смешком. — Пешечки — не орешечки.

«Надо ехать. Сейчас же, немедля, — решил Голубев. — Надо уговорить начальника. Это единственный шанс на спасение...»

— Извините, товарищ полковник, я сдаю партию.

— Что вы, дорогой товарищ, еще игры вагон!

— Не могу. После дежурства голова плохо соображает.

Голубев встал.

— Благодарю вас, товарищ полковник.

— Это за что же? — спросил Николай Николаевич, смахивая с доски шахматы и опять становясь старым и скучным.

— За идею.

11

Часы пробили сердито и отрывисто двенадцать раз. Песков из-под нависших бровей посмотрел на циферблат и вновь склонил голову набок, точно прислушиваясь к чему-то. Он, так же как и прошлой ночью, сидел над статьей о гастритах, так же скрипел пером, бурча под нос, перечеркивал написанное, сердился и все больше и больше начинал понимать, что статья не получится, сколько ни бейся. Выход один: отложить ее, ознакомиться с последними работами о гастритах и, опираясь на эти работы, разобрать случаи, которые он собирался описать. Но для этого требовалось много времени, а журнал торопил, статью надо было отправить через три дня.

Вот и мучился Иван Владимирович, и в

душе ругал себя за то, что не сумел отказаться от предложения редакции. Работа над статьей еще раз доказывала: он отстал от жизни. Это началось незаметно. Как-то так получилось, что однажды он поленился, понадеялся на свой опыт, решил отдохнуть лишний часок, не прочитал последний медицинский журнал. В следующий раз не пошел в Терапевтическое общество. Так и потянулась цепочка — одно звено влекло за собой другое. Жизнь стремительно неслась вперед, а Иван Владимирович все жил прошлым. Иногда его мучила совесть. Он думал: «В отпуск поеду — догоню». Но приходил отпуск, и опять почему-то все оставалось по-старому. В конце концов он привык, что не поспевает за временем, не следит за журналами, за работой товарищей, научился прятать это от всех, опирался только на то, что ему было давно и хорошо известно, на свой многолетний врачебный опыт. Правда, это мешало ему, мешало видеть и понимать новое, но Иван Владимирович на это и не претендовал. С годами он привык пользоваться старыми, испытанными методами лечения. Так было спокойнее. Впрочем, об этом никто не знал. Иван Владимирович был болезненно самолюбив и умел держаться, казаться маститым врачом...

В передней раздался звонок. Он был необычным для квартиры Песковых: все знакомые звонили осторожно, коротко, а это был протяжный, смелый, веселый звонок.

«Кого это в такой поздний час принесла нелегкая?» — сердито подумал Песков. Он хотел выйти и встретить непрошеного посетителя, но дверь уже открыли. В передней дочь с кем-то разговаривала. Песков прислушался. Сквозь толстую дверь его кабинета, обшитую войлоком и клеенкой, ничего нельзя было услышать.

— Как в автоклаве, ни одной щели, — заворчал Песков.

— Папа! — крикнула Ольга из-за двери. — К тебе.

Песков мелкими шажками, шаркая по полу валенками, подбежал к столу, торопливо прикрыл свою работу газетой и лишь тогда сказал:

— Да, войдите.

Вошел Голубев.

Голубева поразил вид этого кабинета со множеством запыленных книг на полках, со старинной мебелью, с поблекшими от времени коврами. Ему казалось, что он попал в архив или куда-то в прошлое, известное лишь по книгам и картинам. И этот старик посредине кабинета, в поношенном халате, в валенках, был похож на архивариуса, на старосветского помещика, на кого угодно, только не на начальника отделения современного советского госпиталя.

Все эти мысли промелькнули в голове его в течение каких-нибудь секунд, а затем Голубев освоился. Перед ним был его начальник,

полковник медицинской службы Песков. И это рабочий кабинет начальника. Голубев приехал специально для того, чтобы говорить о спасении жизни тяжелого больного. Песков был удивлен не менее Голубева. Кого-кого, а Голубева увидеть сейчас, в полночь, в своем кабинете он никак не ожидал. «Однако, как назойлив юноша», — с раздражением подумал Песков.

— Рад, Леонид Васильевич... гм... весьма, — произнес он, садясь в кресло и указывая Голубеву на старинный, покрытый цветным чехлом диванчик.

Голубев в упор посмотрел на Пескова:

— Прежде всего, прошу извинить за поздний визит. Он вызван необходимостью.

Песков уставился на блестящую пуговицу кителя Голубева и еле заметно кивнул головой.

— Я был в госпитале, Сухачеву опять хуже, — продолжал Голубев сдержанно и ровно. — Появилась одышка, цианоз, боли в области сердца усилились. По моему мнению, необходима операция.

Песков сидел не шевелясь, не проронив ни единого слова. Казалось, ему скучно и неинтересно слушать все это.

«Все я знаю, молодой человек, — рассуждал он про себя, — и не понимаю, зачем вы надоедаете мне».

— Я приехал за советом. — Голубев сделал паузу. — У меня есть план: вскрыть перикард, выпустить гной, ввести пенициллин.

— Гм... Ново... весьма, — хмыкнул Песков.

— Это единственный шанс спасти больного, — спокойно продолжал Голубев. — При перитонитах, например, применяют пенициллин, и он дает хороший результат. Почему бы и нам не попробовать?

«Неужели этот юноша не понимает, что больной все равно умрет, — думал Песков, сдерживая в себе накипающее раздражение.— Зачем же больного лишний раз травмировать? Дайте ему спокойно умереть».

Голубев замолчал, ожидая ответа.

— Что вы, в конце концов, хотите? Изложите яснее, — сказал Песков.

Голубев внятно повторил:

— Я предлагаю при операции применить пенициллин. Местно, внутрь сердца.

Песков поднялся, прошелся по дорожке от стола к часам. Голубев ждал, не сводя с него глаз.

— Я не могу этого разрешить.

— Но больной, если не сделать такую операцию, умрет.

— Что же прикажете? — Песков развел руками. — К сожалению, медицина — наука не точная, не арифметика... гм... не таблица умножения.

Голубев встал, заговорил горячо:

— Но почему вы не хотите попробовать? Я беседовал с полковником Кленовым, он применяет пенициллин при перитонитах...

— Почему, почему? — прервал Песков. — Потому... Если он умрет, так умрет. А если мы вмешаемся... Одним словом, я не могу позволить экспериментировать на живом человеке.

— Товарищ полковник, но это странно... Чего тут бояться?

Песков круто повернулся, и Голубев увидел его глаза — злые, бесцветные глаза.

— Я подумаю, — сказал Песков неожиданно мягко. — Утро вечера мудренее, Леонид Васильевич.

Голубев ожидал сейчас чего угодно — что начальник на него накричит, обругает, выгонит вон — и был внутренне подготовлен к этому, — но только не такого перехода.

— Простите. Но, товарищ полковник... — попробовал он продолжать разговор.

— Утро вечера мудренее... Да-с...

Оставаться после этого было невозможно. Голубев молча поклонился и вышел из кабинета.

Песков некоторое время смотрел на дверь, за которой скрылся Голубев, и рассуждал вслух:

— Экспериментатор!.. Диагноза правильно поставить не может. Гм... Ему бы только пошуметь, порисоваться...

Неприятная догадка пришла на ум Пескову: «Да-с, безусловно. Этот молодой человек желает завоевать авторитет новатора. Карьеру, так сказать... Ну, нет... Не позволю...»

Песков подбежал к телефону, торопливо набрал номер отделения и закричал в трубку:

— Гудимова! Алло! Гудимова, что вы там, спите? Утром перевести больного Сухачева в сто девятую палату. Да-с, к майору Брудакову. Что? Мест нет? Поменять... Что? Очень тяжелый? Вот я и перевожу его к более опытному врачу... Не болтайте.

Он бросил трубку.

12

— Снежок выпал! Снежок выпал! — услышал Голубев звонкий голос Наденьки и проснулся.

Комната была как будто светлее, стены и потолок, точно после ремонта, сияли белизной. Утренняя, зимняя, бодрящая свежесть наполняла комнату. Эта белизна и эта свежесть были знакомы Голубеву с детства. Двадцать два года прожил он в Сибири и хорошо помнит радостное ощущение первого снега, понимает всю важность и значимость этого события для Наденьки.

«Снежок выпал» — это значит кончилась распутица, сковывающая детей, когда летние игры уже невозможны — грязь и слякоть не дают развернуться, — а зимние забавы недоступны. И как ждешь этого первого снега! Как по утрам прямо с постели бежишь к окошку, заглядываешь на крыши соседних домов,

а с вечера, перед тем как лечь спать, смотришь на небо и гадаешь: выпадет — не выпадет? — и про себя молишь: хоть бы выпал! Как жадно вслушиваешься в разговоры взрослых и ловишь приметы, по которым завтра быть снегу! Как он снится тебе во сне!

«Снежок выпал» — это детский праздник. Кончилось безделье. Начинается горячая пора. Да здравствуют санки, лыжи, коньки! Да здравствуют снежки и снежная баба!

Сколько приятных, щемящих сердце воспоминаний тотчас возникло в памяти Голубева. Вот он, мальчишка, сидит у горящей печи. Ветер подвывает в трубе. Гудят за окном провода. Огонь скользит по поленьям, потрескивают дрова, поплевывают красными угольками, и сколько простора для детской фантазии! Чего-чего не увидишь в огне! То кажется, что красные мужички в красных опоясках пляшут какой-то дикий, невероятно быстрый танец, присвистывают, подпрыгивают, еще убыстряют темп, шатаются от усталости, напрягают силы и все пляшут, пляшут, не уступая один другому, и наконец в изнеможении все сразу валятся с ног. И тотчас им на смену выбегает хоровод девушек. Они кружатся все быстрее и быстрее, мелькают, переплетаются голубые и алые ленты. И вдруг девушки, словно испугавшись, разбегаются. Появляется косматый старик с рыжей бородой и зелеными волосами... И еще, и еще, покуда не прогорят дрова, в огне возникают все

новые сказочные видения. А когда дрова прогорят, прямо на горячие угли отец бросает картошку. Печеный на углях картофель называли «печенка». Его ели тут же у печи, с черным хлебом, густо посыпая солью, ели с большим аппетитом, обжигая пальцы и губы...

Голубев почувствовал голод — засосало под ложечкой, засмеялся и вскочил с кровати.

Девочки в одних рубашонках, босые, стояли у окна.

— Вы чего это, гуси-лебеди, босиком стоите? Простынете, — весело сказал Голубев, подхватывая их на руки.

Девочки взвизгнули и затараторили.

— Папочка, а на санках сегодня кататься можно? — кричала Наденька.

— А ты мне лыжи купишь? — спрашивала Валя. — Ты обещал.

— А снежок больше не растает?

— А в валенках идти можно?

— Все куплю, все можно, все хорошо, — сказал Голубев, прижимая девочек к себе и кружась с ними по комнате.

И тут он услышал, как у девочек стучат сердечки — быстро и радостно, и сразу вспомнил про Сухачева, про его сердце.

«Утро вечера мудренее», — сказал вчера Песков. «Сейчас утро, и надо что-то решать».

Голубев посадил девочек в свою кровать и начал одеваться.

— Ты уже уходишь? — спросила Наташа, увидев его одетым.

— Да, нужно скорее в госпиталь.

— А завтрак?

— Я не хочу. Заверни мне что-нибудь с собой.

— А я блины завела.

— Не обижайся. Хочешь, завтра в театр пойдем?.. Нет, нет, не возражай. Конечно, идем.

Голубев обнял жену и вышел из комнаты.

13

По палате кто-то прошел, громко шлепая туфлями. Кольцов проснулся. Сомнения быть не могло: так шлепают только «ни шагу назад».

«Ни шагу назад» — больные называли туфли без задников. В таких туфлях действительно нельзя было сделать назад ни одного шага: туфли немедленно оставались на полу.

«Ни шагу назад» в сто седьмой гвардейской носил Хохлов.

Кольцов удивленно покосился на кровать своего соседа. Постель была пуста. Хохлов, всегда любивший поспать, в это утро поднялся раньше всех.

Кольцов оделся, заправил койку и, укладывая подушки, обратил внимание на то, что наволочки сегодня очень белы. Да и в палате необыкновенно светло.

Кольцов подошел к окну. Чистый первый снег лежал на ветвях, на скамейках в госпитальном саду, на кабине дежурного «ЗИСа». На скульптуре бойца, стоявшей у фонтана, была надета снежная шапка. Дорогу пересекали черные полосы — следы колес: кто-то приехал в офицерский корпус. Через сад несли завтрак. Ни свет ни заря на дворе появился ранний лыжник — парнишка лет восьми. На стене склада белое пятно: кто-то запустил снежком. На крыше соседнего корпуса снег, и дальше, куда ни посмотри, всюду снег. А между тем в саду из-под снега выглядывает зеленая трава, высокие могучие тополя еще в зеленой листве, деревья помоложе, пониже — сохранили багровые листья.

Кольцов постоял, полюбовался на белый пушистый снег и вышел в коридор. Здесь было пусто. Сестры сидели за своими столиками, записывая утреннюю температуру. Из столовой доносился стук тарелок, перезвон ложек.

Хохлова нигде не было.

Пришла методистка по лечебной физкультуре — стройная, загорелая девушка с секундомером в руке. Будто по условному знаку, сестры встали из-за своих столиков, прошли в палаты, объявили подъем. И сразу все ожило, зашумело, зашевелилось. Из палат донеслись голоса, смех... Только в сто седьмой гвардейской было тихо. Больные поднимались и молча выходили в коридор на утреннюю гимнастику.

Заиграл баян. Веселый, бодрящий «Марш летчиков» разлетелся по отделению.

— С левой ноги, на месте, шаго-ом марш! — сочным голосом скомандовала методистка.

В тот же миг Кольцов услышал знакомый шепот:

— Сухачева от нас переводят.

Рядом стоял Хохлов. Неизвестно, когда и откуда он появился.

Друзья едва дождались, когда кончится гимнастика, отошли в сторону, и Хохлов, тряхнув рыжей головой, торопливо заговорил:

— С вечера ты уснул, а я еще долго не спал, все слушал, как он стонет да просит, чтобы его подняли повыше. Надоело лежать. Вышел я из палаты и случайно услышал разговор сестры по телефону. Понял — насчет перевода. А потом она и сама сказала: «Странно, почему он так торопит?»

По коридору затарахтела каталка. Друзья замолчали, насторожились.

Ирина Петровна с усталым, недовольным лицом толкала перед собой каталку. Толкала медленно, с большим трудом, точно на каталке была по меньшей мере тонна груза. И с каждым шагом Ирины Петровны Хохлов чуть-чуть подавался вперед. Когда каталка поравнялась со сто седьмой гвардейской, Хохлов сорвался с места и в два прыжка очутился возле сестры.

— Стойте! — крикнул он. — Стойте! Каталка неисправна.

— Фу, сумасшедший! — Ирина Петровна схватилась за грудь, вздохнула: — Напугал.

— Неисправна. Человека можно уронить.

Хохлов оттащил каталку к стене, засучил рукава и принялся крутить какую-то гайку.

— Видите, туда-сюда ходит. Не догляди — и рассыпалась бы по дороге.

— Только вы поскорее, — сказала Ирина Петровна.

— Поскорее нельзя, руками не завернешь — ключ надо.

Кольцов наклонился над Хохловым, будто наблюдая за его работой, прошептал:

— Это ты устроил?

Хохлов лукаво скосил глаза. Кольцов неодобрительно покачал головой.

— Товарищи, поскорее. Начальник будет ругаться.

— А вы не волнуйтесь, — успокоил Хохлов, погасив лукавую улыбку, — аварии даже и здесь бывают.

Ирина Петровна заметила улыбку, догадалась: «Товарищи не хотят, чтобы Сухачева от них переводили».

— Этим не поможешь, голубчики мои. Придется нести на носилках. Идемте, старшина, за носилками.

Они повернулись, сделали два шага и остановились.

Перед ними стоял Голубев.

Бойцов столкнулся с Голубевым в коридоре. Голубев рассеянно поклонился и, не задерживаясь, прошел мимо.

— Товарищ гвардии майор, а я как раз к вам. Был у вас вчера в палате, — сказал Бойцов.

— Мне докладывали. — Голубев продолжал думать о чем-то своем.

— Как тот больной? Говорят, плох.

— Сухачев?

У Голубева дрогнули губы, он сердито ответил:

— Он уже не у меня.

— Умер?

— Да нет! — Голубев с досадой махнул рукой. — Переводят его. Видно, мне не доверяют.

— Ну-ка, расскажите.

Бойцов взял Голубева под руку и отвел в сторону, к окну. С минуту Голубев молчал, будто решая — стоит рассказывать или нет. Бойцов терпеливо ждал, не торопил, не расспрашивал. С крыш падала капель. Было слышно, как капельки, позванивая, ударяются о железный карниз. Спокойствие Бойцова подкупило Голубева. Он рассказал все, как было.

— ...Или ему не нравится мое предложение, или он не доверяет мне, — закончил Голубев. — Но я-то хочу только одного — спасти больного.

— А ночью он ничего не сказал относительно перевода?

— Ничего не сказал. Правда, он возражал против моего предложения, но проводил меня словами: «Утро вечера мудренее».

— Идемте, — позвал Бойцов.

Песков в своем кабинете подписывал свидетельства на комиссию.

— Разрешите, товарищ полковник?

— Прошу.

Песков встал, не спеша, с достоинством протянул Бойцову костлявую руку, бросил колючий взгляд из-под бровей на Голубева. «Так и есть. Уже пожаловался: затирают его».

— Прошу садиться. Я сейчас закончу.

Песков не был подчинен Бойцову и никак не зависел от него. Но Бойцов был партийным руководителем госпиталя, то есть тем человеком, от которого во многом зависит общественное мнение. И поэтому Песков всегда держался с ним подчеркнуто внимательно и любезно. Закончив дело, Песков потер руки и спросил:

— Чем могу служить?

Голубева удивил голос, которым был задан этот вопрос. Он бы никогда не подумал, что у начальника может быть такой голос — певучий, грудной баритон, словно Песков разговаривал не с секретарем партийного бюро, а с молоденькой девушкой.

— Я, товарищ полковник, — сказал Бойцов, — интересуюсь тяжелыми больными. В частности, меня интересует состояние больного Сухачева.

— Ваша забота заслуживает всяческого одобрения. Признаться, у нас еще не было такого парторга. Гм... Что касается этого Сухачева, то у него — гнойный перикардит. Положение тяжелое. Да-с. Prognosis pessima, что значит... — Песков помедлил. Он хотел сказать — прогноз безнадежный, но сообразил, что парторг может расценить такой ответ как слишком пессимистический, и сгладил перевод: — Будущее чревато последствиями. Но мы сделаем все, что в наших силах. Уже установлен индивидуальный пост, вводится пенициллин...

— Я слышал, вы его переводите в другую палату? — как бы между прочим, спросил Бойцов.

Песков покраснел, брови ощетинились. «Еще истолкует это как подкоп под молодого врача».

— Вас неправильно информировали,— пророкотал Песков. — Сухачев у нас в сто седьмой палате. По-моему, у вас, Леонид Васильевич?

— Да... но... мне передавали, что вы распорядились...

— Кто... гм... передавал?

— Дежурная сестра. Если приказ, я, конечно...

— Вздор.

— Говорят, вы звонили по телефону.

— Ересь. Да она все перепутала. Я интересовался Сухачевым и просил показать его

дежурному врачу — Аркадию Дмитриевичу Брудакову, как человеку опытному...

Голубев почувствовал, что его дурачат, и ничего не мог поделать. Он смотрел на лохматые брови, на дряблые щеки, на большие уши Пескова и молчал.

— А как с операцией? С введением пенициллина в сердце? — будто ничего не замечая, спросил Бойцов.

— Обсудим... коллегиально. Мысль весьма интересная.

Песков отогнул халат, вынул из нагрудного кармана кителя потертые карманные часы:

— На десять ноль-ноль я назначил консилиум. Если угодно присутствовать...

— К сожалению, не могу. Ко мне приедут из политотдела. Прошу извинить за беспокойство.

— Пожалуйста. Всегда рады вас видеть.

Песков протянул руку, пряча в уголках губ довольную улыбку.

14

Врачи, находившиеся в этот утренний час в ординаторской, оторвались от работы и посмотрели на Голубева. Молодящаяся Цецилия Марковна Раздольская, взмахнув загнутыми кверху крашеными ресницами, взглянула на него с нескрываемым любопытством. Старый, полысевший на работе, молчаливый и сонный доктор Талёв раздул по привычке

щеки. Подполковник Гремидов, подкрутив длинные буденновские усы, ободряюще кивнул Голубеву. Тучный, круглолицый майор Дин-Мамедов многозначительно произнес «м-да» и сердито покосился на закрывшуюся дверь кабинета начальника.

Голубев сел за свой столик, покрытый зеленой скатертью, зажег настольную лампу, взял первую попавшуюся под руки историю болезни.

Предстоял консилиум, необходимо было собраться с мыслями, но мыслей не было. Была глубокая обида, она подавляла все остальные чувства. «Зачем он унизил меня перед секретарем, показал лгуном? — думал Голубев. — Зачем обманул Бойцова? Ведь он все же давал команду о переводе больного. Почему он так злится на меня? Разве я делаю что-нибудь плохое? Разве мое беспокойство вредит больному?»

Голубев листал историю болезни, не замечая, что листает ее с конца, что из-под абажура на него с любопытством смотрят черные глаза Цецилии Марковны, что майор Дин-Мамедов не работает, а выбирает момент, чтобы заговорить с ним, что в ординаторской стоит особая тишина — слышно, как дышит, засыпая, престарелый доктор Талёв.

— Зачем голову повесил? — наконец не выдержал майор Дин-Мамедов. — Почему не думаешь? Думать надо. Мысль врача больных лечит. Так мой учитель говорил.

— А я и не унываю, — бодро сказал Голубев, чувствуя в словах соседа поддержку. — Я думаю.

В дверях показался Аркадий Дмитриевич Брудаков.

— Здравствуйте, коллеги! — прокричал он еще с порога.

«Коллеги» сдержанно поздоровались. Доктор Талёв вскинул голову, посмотрел вокруг мутными глазами и опять задремал. Аркадий Дмитриевич подошел к Голубеву, протянул толстую книгу:

— Это вам. Здесь чудесно сказано о пенициллине. Я просматривал ее во время дежурства.

— Большое спасибо.

— Очень рад вам помочь.

Дверь кабинета начальника приоткрылась, послышался раздраженный голос Пескова:

— Александр Александрович!

Доктор Талёв, Сан Саныч — так его между собой называли врачи, зевнул, поднялся и с безразличным выражением лица, на ходу отдуваясь, пошел в кабинет. Дверь за ним плотно закрылась.

— Консилиум оформляет, — шепнул Голубеву майор Дин-Мамедов. — Да, да. По себе знаю. Так же в прошлом году со мной было.

Следующим был приглашен в кабинет Аркадий Дмитриевич Брудаков.

— Малый хурал собран, — прошептал

майор Дин-Мамедов, иронически передернув толстыми губами.

Затем в кабинет вызвали подполковника Гремидова. Он на секунду задержался возле Голубева, разгладил усы, сказал шутливо:

— С начальником вздумали спорить, а? — и добавил серьезно: — Ничего.

Голубев подошел к окну. Небо на востоке горело алым светом. Крыши домов, покрытые первым снегом, блестели особенно ярко. Из высоких труб электростанции валил черный дым. Меж двух труб висело солнце — раскаленный огненный шар. И, глядя на солнце, на снег, на залитый багрянцем город, Голубев вдруг почувствовал в себе силы. «Ничего, — повторил он слова Гремидова. — Я все-таки попробую доказать свою правоту. Только бы поскорее. Чем больше медлить, тем труднее будет спасти больного. Если он в самом деле не доверяет мне, пусть скажет, пусть переведет больного к другому врачу. Черт с ним, с моим самолюбием! Важно, чтобы операция состоялась, чтобы человек поправился».

Наконец и его вызвали к начальнику.

— Ну, — наказал майор Дин-Мамедов, — говори убедительно. Как можно убедительнее и смелее. Налетай, как орел на ягненка. Песков этого не любит. Он привык, что его слово — закон. А ты не бойся.

Голубев одернул халат и с решительным видом вошел в кабинет.

Сто седьмая гвардейская торжествовала: Сухачева оставили в палате.

— Наш доктор — правильный человек, — рассказывал Хохлов. — Как только мы ему доложили, он раз — и к майору Бойцову, два — и к начальнику.

Дальнейшее всем было известно. Да и представить себе никто не мог, чтобы Сухачева вдруг перевели в другую палату. За трое суток к нему привыкли. Попечение о нем и дежурство около него все считали своим долгом. Но товарищей теперь огорчало другое — состояние Сухачева. Просыпаясь, они спрашивали друг у друга:

— Ну, как он? — и первым делом спешили к его кровати.

Сухачев полулежал на подушках, дышал часто и шумно, губы пересыхали, он то и дело облизывал их и просил пить.

Кольцов отдал ему свое брусничное варенье. Всю ночь Сухачева поили кисленьким чаем, а утром из столовой принесли графин морса. Василиса Ивановна разрешила ему не более двух глотков:

— Нельзя, сынок, не полагается.

Сухачев закрывал глаза, стонал и на короткое время забывался. Ему представлялись родные места. По дороге на Прохоровку, у высокой сосны, прямо из горы бьет ключ. Вода студеная — зубы ломит.

— Пить... пить...

— Нельзя, сынок, не полагается.

— А что, Никита, если нам письмо написать? — шепотом спросил Хохлов.

— Куда это?

Хохлов кивнул в сторону Сухачева.

— Может, мать вызвать? Тяжеловат парнишка.

— Поправится.

Хохлов спорить не стал, но взял из тумбочки блокнот и уселся за письмо.

Дверь в палату распахнулась. Показалась группа врачей, все в белоснежных халатах.

Сухачев открыл глаза. Несколько секунд он смотрел, ничего не понимая, затем остановил взгляд на Пескове, откинул голову и замахал перед лицом рукой, точно рассеивая дым.

— Боится, бедняга, — посочувствовал Хохлов.

К больному подошел Голубев, положил ему руку на лоб, что-то сказал. Сухачев успокоился, обмяк, безразлично дал себя выслушать.

Первым слушал доктор Талёв.

— Ишь, отпыхивается, словно чай пьет, — Хохлов недовольно шмыгнул носом.

Аркадий Дмитриевич Брудаков начал осмотр с улыбок: одна начальнику, другая — Голубеву, никого не обидел. Потом он постучал пальцем по груди больного, будто поклевал его легонько, приложил трубку к сердцу — и готово. Снова улыбка Голубеву, деликатный поклон начальнику.

— Балерина, — прошептал Хохлов.

— Да, этот через игольное ушко пролезет.

Подполковник Гремидов слушал больного дольше всех. Он просил нянечку повернуть больного на бок, посадить. Сухачев морщился: усы щекотали грудь, но он терпел, почувствовав твердую хватку опытного врача.

Песков не стал выслушивать больного. Он что-то буркнул себе под нос и повернулся к выходу.

— Нет, Никита, — решительно произнес Хохлов. — Надо не письмо, телеграмму надо давать.

Консилиум гуськом прошел через ординаторскую и скрылся в кабинете начальника. Дверь плотно закрылась.

Майор Дин-Мамедов остановился возле столика Цецилии Марковны, спросил:

— Что, если я туда ворвусь? А?

— Что вы, что вы! — Цецилия Марковна прижала кулачки к груди. — Это было бы ужасно!

— Ух! — майор Дин-Мамедов хотел с досады треснуть кулаком по столу, да так и замер на мгновение с поднятой рукой.

Из-за двери послышался визгливый крик:

— Ересь! Болтовня-с! Да, да, да!

Голос Голубева, громкий, но сдержанный:

— Если мы будем бояться, то никогда ничего не откроем.

— Вздор!

— И люди не простят нам трусости...

— Садитесь.

Наступила тишина. Молчали и в кабинете и в ординаторской. Майор Дин-Мамедов слегка присел, наклонясь вперед, словно приготовился к прыжку. Цецилия Марковна, навалившись грудью на стол, прислушивалась.

То, что они сейчас услышали, было непостижимо. Начальник, всегда такой уравновешенный, подчеркнуто официальный, — кричал. Да еще как кричал!

Прошло несколько минут. Часы пробили одиннадцать. За дверью раздались голоса более спокойные, едва слышные.

Дверь открылась. Первым показался Голубев. Он шел прямо, сжав губы, слегка прищуря глаза. Не проронив ни слова, он взял папку с историями болезней и медленной походкой направился в свою, сто седьмую гвардейскую палату.

15

В дверь негромко постучали.

— Нельзя! — крикнул Песков.

Он сидел откинувшись в кожаном кресле, разглядывал свои костлявые, утолщенные в суставах пальцы и бурчал себе под нос:

— Зря... Зачем?

Он был недоволен собой. Очень недоволен. «Зачем было кричать, показывать, что волнуешься, что на тебя действует этот мальчишка? Сколько лет держал себя в руках, был

уравновешенным, спокойным, и на тебе — сорвался. Подумают, что стар. Это бы ничего. А то подумают, что неправ и потому кричу, пользуюсь правом старшего. Еще разговоры пойдут».

Разговоров Песков боялся больше всего. Они могли бросить тень на его авторитет, а он им в последние годы очень дорожил. Все считали Пескова прекрасным терапевтом. Так когда-то и было. Иван Владимирович имел большую практику, отлично ставил диагнозы, удачно лечил больных. Слава о нем разлетелась по всему военному округу. К Ивану Владимировичу привозили больных на консультацию, его приглашали на консилиумы, с ним советовались даже профессора. Теперь Иван Владимирович уже не тот, каким был прежде. Но его все еще окружали ореолом славы: непременно выбирали в президиум, если заболевал кто-нибудь из начальников — вызывали только Пескова, он председательствовал на всех терапевтических заседаниях. Песков привык к почету. Он не представлял свою жизнь иначе. Когда Песков понял, что отстает, он особенно тщательно стал охранять свой авторитет. А между тем молодые врачи как будто почувствовали слабость своего начальника. В прошлом году был такой же консилиум и борьба с майором Дин-Мамедовым. Но майор Дин-Мамедов оказался чересчур эмоциональным. Он первый не выдержал борьбы, вспылил и в горячке сам же запутался в своих доводах...

Кроме того, он оказался недостаточно настойчивым, после поражения скис, замолчал, успокоился.

«А этот карьерист как будто и не намерен утихомириться. Крепкий характер», — думал Песков.

Он посмотрел на портрет старика в позолоченной раме, висевший против него на стене. Глаза старика, умные и молодые, встретились с его глазами. В памяти Пескова возникли картины далекого прошлого. Военно-медицинская академия. Он — молодой, сильный, пышноволосый, полный надежды и веры в будущее — слушал лекции Ивана Петровича Павлова. Иван Петрович учил молодежь смелости и терпению, учил дерзать и наблюдать.

Слушая его лекции, молодой Иван Песков мечтал о славе, о большом пути в медицине. И вот прошла жизнь. Он остановился где-то на полдороге, перестал учиться, стал только учить.

Песков отвернулся от портрета, передернул плечами, поежился.

«Еще скажут, что я — консерватор, зажимаю молодежь. А-а, пусть попробуют свой дурацкий пенициллин. Не так уж это опасно и не так больно».

Песков кинул недовольный взгляд на портрет, поднялся, тяжело опираясь на подлокотники, и заспешил из кабинета...

В сто седьмой гвардейской стояла тишина. Больные сидели на табуретах у своих коек и молчали. Они дожидались обхода врача. Хохлов снял «ни шагу назад» и ходил по палате в одних носках.

Возле Сухачева дежурила Аллочка. Она сидела опустив голову, глядя на руку больного с синим якорьком. Рука лежала неподвижно поверх байкового одеяла. Иногда пальцы сжимались в кулак так, что белели суставы, затем медленно распускались, как у засыпающего человека.

По палате пролетел легкий шумок. Аллочка обернулась.

— Здравствуйте. Сидите, пожалуйста, — негромко сказал Голубев.

Больные сели, и снова наступила тишина.

Голубев прошел к столу, положил папку, стоя принялся просматривать анализы, будто это было сейчас самым необходимым. Нужно было подойти к Сухачеву, но Голубев не был уверен, что сдержит себя, не выдаст своего волнения. Ну что он ему скажет? Чем успокоит? Он ничего для него не добился, ничего не смог доказать. «Значит, стоять, не зная, чем помочь, и смотреть, как больной мучается».

Медлить дольше было неудобно: больные начали переглядываться.

Голубев отложил папку, подошел к Сухачеву. Тот часто дышал, с шумом вбирая воздух. Голубев взял его руку, принялся считать пульс. И как только он дотро-

нулся до руки больного, все его волнения будто отодвинулись, исчезли. Врачебная струнка, заложенная в нем, зазвенела, заиграла, наполнила все его существо чувствами, знакомыми всякому человеку, любящему свое дело.

«Раз, два, три, четыре», — считал Голубев частый, сбивчивый, слабый пульс, думая только о том, чтобы не упустить ни одного удара, сосчитать как можно точнее.

— Гм... Сколько? — услышал Голубев знакомый хрипловатый голос.

— Девяносто четыре, — ответил он, выпуская руку больного и поворачиваясь к Пескову.

— Вы вот что, — сказал Песков тем необычным для него певучим баритоном, которым утром разговаривал с Бойцовым. — Везите-ка больного в процедурную. Мы введем ему пенициллин в полость перикарда. Да-с. Попробуем.

Голубев был так удивлен этим неожиданным приказанием, что только и сумел ответить:

— Слушаюсь.

В коридоре стояли подполковник Гремидов и Аркадий Дмитриевич Брудаков. Низенький Гремидов пощипывал себя за ус и, приподняв голову, смотрел на Брудакова. Аркадий Дмитриевич говорил, оттопыривая мизинец на левой руке и помахивая им перед носом Гремидова:

— Поймите, коллега, я принципиально не против. Но позвольте! Нужны солидные науч-

ные доводы. Нужны авторитеты. Если я в своей диссертации говорю о гастрограммах как о методике исследования, так я же ссылаюсь на работы видных ученых. А тут? Какой-то петушиный наскок. Надо пощадить нашего старика.

Заметив подходившего к ним Голубева, Аркадий Дмитриевич тотчас повернулся в его сторону и восторженно воскликнул:

— Браво! Браво! Вы смелы, коллега. В ваших словах много оригинального.

Голубев приостановился, рассеянно слушая Аркадия Дмитриевича, видимо плохо понимая, о чем тот говорит.

— Нет, честное слово, в вас есть божья искра.

Гремидов покачал головой и, махнув рукой, пошел в ординаторскую.

На противоположной стороне улицы строили огромный, многоэтажный дом. Голубеву было видно, как подъемный кран опускал свой длинный железный хобот, подхватывал и тащил наверх добрую сотню кирпичей, уложенных в штабеля, и вновь безотказно, послушно опускался вниз. С другого конца здания по бесконечной широкой ленте кирпичи поднимались на второй этаж и как будто сами шли в руки каменщику. На секунду кирпич задерживался в умелых руках мастера, а затем навечно прирастал к своему месту в стене. И уже новый кирпич ждал своей очереди. Миг — и он

пристраивался к первому. Стена росла буквально на глазах.

— Не понимаю, — тихо произнес Голубев и медленно потер лоб. — Нет, не понимаю. Полчаса тому назад он кричал, он отклонил мое предложение, он готов был растереть меня в порошок.

— Что случилось, коллега?

Голубев резко повернулся к Аркадию Дмитриевичу:

— Вы понимаете, он сам, сам предложил сделать больному пункцию и ввести в полость перикарда пенициллин. Правда, пункция — не операция, но все же это шаг вперед.

— Позвольте, коллега, дать вам дружеский совет, — услужливо предложил Аркадий Дмитриевич. — Зачем вам самому лезть в это дело? — Он покосился на дверь ординаторской и зашептал: — Вы обратитесь к старшему хирургу. Знаете Кленова? Так вот, поговорите с ним. Он человек активный, любит оперировать.

— Это — мысль! — воскликнул Голубев и, схватив руку Аркадия Дмитриевича, энергично тряхнул ее.

16

С Кленовым в этот день поговорить не довелось. Николай Николаевич до самого вечера был занят на операциях.

Голубев, тревожась за Сухачева, не подо-

зревал, что в это время другой человек тоже думает о Сухачеве, и не только думает, но и старается помочь ему.

Этим человеком был майор Бойцов.

Утром, слушая взволнованный рассказ Голубева, Бойцов почувствовал, что между молодым врачом и старым начальником назревает конфликт, и, по-видимому, крупный. Речь шла о жизни человека. Бойцов понял, что Голубев предлагает что-то новое, необычное. Песков осторожничает, перестраховывается, не хочет брать на себя ответственность. А между тем больному все хуже и хуже. Бойцов решил вмешаться в это дело, чтобы помочь больному.

Всего три месяца назад Бойцова избрали секретарем партийного бюро госпиталя. До этого Бойцов никогда с медиками дела не имел, разве что в войну, когда, раненый, лежал в госпиталях.

В юности Бойцов два года учительствовал в Казахстане. Первое время ему было очень трудно: он не знал языка, не понимал людей, и они его не понимали. Когда он изучил язык — работать стало легче. Он мог общаться с людьми, они его узнали и полюбили. Теперь происходило нечто сходное. Медицина была для него чужим, незнакомым языком. Необходимо было познакомиться хотя бы с азами этого «языка». Иначе работать невозможно: с тобой не станут считаться. Ночами он сидел за медицинскими учебниками, каждую сво-

бодную минуту старался бывать в отделениях, присутствовать на операциях, на консилиумах.

Врачи вначале смотрели на него как на человека со странностями, подшучивали над ним, кое-кто иронизировал, называл «профессором», а кто поумнее — начал помогать Бойцову.

Сегодня утром, когда он прямо от Пескова прошел в кабинет начальника госпиталя и доложил ему обо всем, генерал, выслушав его внимательно, сказал:

— Иван Владимирович — опытнейший врач. Тут что-то не так. Я разберусь, конечно, но мне думается, что вы просто недостаточно знакомы с терапией. Трудно, знаете ли, судить.

Бойцов ответил, что он не специалист, но слышал, что такие больные, как Сухачев, если и выживают в острый период, то затем все равно умирают. И потому ему кажется, что мысль Голубева заслуживает внимания.

Генерал удивился, услышав правильные, хотя и общие, суждения о той болезни, которой страдал Сухачев.

— Н-да... — протянул он, внимательно разглядывая Бойцова.

Генерал был моложавый, весь начищенный, блестящий, он, видно, недавно побрился, от него пахло одеколоном и здоровьем, именно здоровьем. Бойцов был уверен, что здоровье и болезнь имеют свои запахи.

— Повторяю, я плохо разбираюсь в медицине, — сказал Бойцов. — Но в людях я кое-что понимаю, товарищ генерал.

— Решим так, — проговорил генерал, вставая из-за стола. — Я выясню что и как и сообщу вам о своем решении.

Генерал Луков вызвал к себе Пескова. Когда Иван Владимирович явился, генерал вышел ему навстречу, тепло поздоровался, усадил рядом с собой на мягкий диванчик:

— Как, Иван Владимирович, здоровье?

— Здоровье, гм... не жалуюсь.

— А работа?

— Как всегда, товарищ генерал.

— Я слышал, у вас тяжелый больной.

Песков покраснел, лицо его покрылось пятнами, брови сошлись на переносье. «Уже сюда дошел слух, — подумал он с раздражением.— Не на шутку взялся молодой человек».

— Так точно, товарищ генерал. С выпотным перикардитом.

— Ну и как он?

— К сожалению, надежд мало.

— Мне доложили — есть какое-то предложение?

Песков покачал головой, иронически улыбнулся:

— Ах, эти молодые врачи! Шумят, предлагают, что-то пытаются изобрести... А сами... даже диагноза не могут правильно поставить...

— Быть может, надо собрать консилиум?

— Как прикажете, товарищ генерал. Но я, простите, не понимаю, к чему весь этот шум. Зачем лишний раз травмировать больного? Случай вполне ясный.

— Вы не волнуйтесь, Иван Владимирович.

— Я не могу не волноваться, товарищ генерал, это, простите, касается моего авторитета...

Генерал Луков не любил длинных разговоров:

— Давайте соберем консилиум: всякое бывает.

После этого разговора генерал пригласил Бойцова:

— В одиннадцать ноль-ноль двадцать первого соберем консилиум.

— Отлично.

— И все-таки я не думаю, — сказал генерал, — чтобы Иван Владимирович дал маху. Я даже уверен, что он прав. Ведь Голубев, оказывается, даже диагноза — выпотной перикардит — не поставил.

Бойцов пропустил это замечание мимо ушей: он уже слышал об этом...

— Разрешите пригласить профессора Пухова?

— А вы его откуда знаете?

— Знаю, товарищ генерал.

Бойцов знал профессора как страстного охотника. На охоте они и познакомились. Юркий, выносливый старичок измучил тогда

Бойцова. За день они отмахали по лесам и болотам километров двадцать.

Генерал сел, перелистал настольный календарь и на листочке «21 октября» написал красным карандашом: «11-00 консилиум».

— Занят он очень, сможет ли приехать?

— Я попытаюсь, товарищ генерал.

Клиника профессора Пухова жила своей жизнью. Был седьмой час, и нянечки разносили ужин, несколько больных стояло у окна, с завистью разглядывая по-вечернему оживленный город: их тянуло на воздух, под открытое небо, на ярко освещенные улицы.

У профессора шло совещание.

Бойцов сел возле дверей кабинета и начал обдумывать план разговора с Сергеем Сергеевичем.

Сергей Сергеевич Пухов всегда тщательно готовился к выезду на охоту. Он любил все делать своими руками: почистить, проверить и смазать ружье, впрок наготовить патронов, подогнать и починить одежду и обувь. Делал он все это неторопливо, старательно, с удовольствием. Однако последние недели в клинике были настолько трудными, что пришлось перенести из дому в свой служебный кабинет аккуратно увязанные мешочки с порохом и дробью, коробки с пистонами, два патронташа, набитых пустыми гильзами, и прочее, что относилось к разделу боеприпасов. Все это

хранилось у Сергея Сергеевича в столе, в нижнем ящике, и в свободную минуту он занимался своим хозяйством.

Сегодня Сергей Сергеевич рассчитывал набить патроны и после совещания поспешил всех выпроводить из кабинета, вынул из ящика все, что требовалось, и только было взял первую гильзу, как в дверь постучали. Свои, конечно, стучать бы не стали: Сергей Сергеевич дал им понять, что в кабинете будет происходить нечто такое, чему нельзя мешать. Стучался кто-то чужой.

«Сколько раз говорил, чтобы посторонних после пяти часов в клинику не пускали. Хоть кол на голове теши!» — ворчал Сергей Сергеевич, укладывая охотничьи принадлежности в ящик.

Он, видимо, не узнал Бойцова и, не пропуская его в кабинет, остановил вопросом:

— Вы ко мне?

— Да, к вам, товарищ генерал.

— Обязательно ко мне?

— Да, обязательно к вам, товарищ генерал. — Бойцов широко улыбнулся. — Не узнаете?

Сергей Сергеевич наклонил абажур настольной лампы так, чтобы свет падал на пришельца.

— Ну-ка, ну-ка!

Увидев знакомую улыбку, он быстро вскочил из-за стола и мелкими, скорыми шажками побежал к Бойцову.

— А-а! — воскликнул он, протягивая свою маленькую крепкую руку. — Какими судьбами? Милости прошу! — Он ловко повернулся и потащил за собой Бойцова.

Усадив гостя в кресло, он подхватил стул и сел рядом.

— Очень рад, очень рад, — повторял он, похлопывая Бойцова по коленям. — Как охота? Ездили или нет? — И, не давая Бойцову ответить, продолжал: — А я все вырваться не могу. Уйма работы. Засосала работа. Лекции, совещания, диссертации — прямо дохнуть некогда...

Говорил он быстро, словно боялся, что не поспеет за мыслью.

«Огонь старик», — с уважением подумал Бойцов.

— А вы-то как? — словно спохватившись, спросил Сергей Сергеевич.

— Я теперь в госпитале служу, товарищ генерал.

— У-у, батюшки мои, куда вас махнуло!

— Мы — люди военные.

— Позвольте, позвольте, — перебил Сергей Сергеевич, — так вы у генерала Лукова?

— Так точно.

Сергей Сергеевич вдруг закинул назад голову и звонко захохотал. Бойцов, еще ничего не понимая, тоже невольно рассмеялся. Сергей Сергеевич хохотал до слез, потом так же неожиданно остановился, утер слезы платком.

— Ой, батюшки мои, так и до инфаркта можно, — и объяснил: — Я сегодня одного вашего эскулапа выставил отсюда. Видели бы вы его физиономию при этом.

— Как?

— Да так. Очень просто. — Сергей Сергеевич нахмурился и уже с возмущением сказал: — Я оппонент его. Так он мне, видите ли, посылочку подсунуть решил. Мерзость какая!

— Кто же это может быть? — недоумевал Бойцов. — У нас, по-моему, и нет таких.

— Есть! — раздраженно крикнул Сергей Сергеевич. — Майор Брудаков, вот кто.

— Не может быть. Он у нас положительный товарищ.

— Хм... положительный.

Сергей Сергеевич сердито забарабанил пальцами по столу:

— Во времена моей юности — я еще понимаю... Но откуда сейчас такая патология?

Зазвонил телефон. Сергей Сергеевич схватил трубку:

— Слушаю! Пухов. Есть... Есть, — повторил он, положив трубку, и поднялся. — Извините. Вызывает начальник академии. Над генералами тоже есть старшие.

Он добродушно засмеялся.

— Ах, ты! — вырвалось с досадой у Бойцова. — А я к вам по важному делу, товарищ генерал.

— Что ж, это ничего. А сложное дело? — надевая драповую на шелковой подкладке шинель, спросил Сергей Сергеевич.

— Это уж вам судить, товарищ генерал.

— Что же, пойдемте вместе. По дороге расскажете... А на охоту когда поедем? — спрашивал на ходу Сергей Сергеевич. — Я, знаете, собачку приобрел. Легавую. Молодая еще, но с будущим. Поехали, а?

17

Утро выдалось сырое, ветреное, холодное. Было еще темно. Шел мокрый снег и дождь. Автомобили, автобусы и троллейбусы проносились по проспекту с зажженными фарами. Уличные фонари раскачивались из стороны в сторону. Свет их расплывался в желтые трепещущие пятна.

Свист ветра покрывали разноголосые гудки машин.

Напротив стадиона в очереди на троллейбус стоял Иван Владимирович Песков. Он беспокоился: то и дело выскакивал на дорогу, вглядывался, прикрывая глаза ладонью, не идет ли троллейбус.

На повороте мелькнула яркая, искрящаяся дорожка, показались знакомые «усики». Подошел троллейбус. Тотчас вся очередь пришла в движение. Народу было много. Иван

Владимирович понял, что ему не попасть. Троллейбус тронулся.

Иван Владимирович заметил, что на перекрестке зажегся красный глазок светофора. Он мелкой рысцой побежал за троллейбусом. Водитель, увидев полковничью папаху, открыл переднюю дверь.

Молодой лейтенант уступил ему место. Иван Владимирович сел. И сразу его начало клонить ко сну. Он почти три ночи не спал. Под утро наконец была закончена многострадальная статья о гастритах (кое-что он выдумал, кое-что взял из последних журналов и переписал своими словами).

Кто-то легонько ткнул Ивана Владимировича в спину. Он открыл глаза, недовольно повернул голову. Позади него сидел Николай Николаевич Кленов.

— Дорогой товарищ, станцию свою проспишь, — наклоняясь к уху Пескова, шутливо сказал Николай Николаевич.

В ответ Песков что-то буркнул под нос.

— Ты не бурчи, а давай мне язвенных больных.

— Нет подходящих.

— Ты посмотри получше.

— Гм... народ молодой.

— Вот и давай, пока не состарились. Состарятся — поздно будет.

Давнишней страстью Николая Николаевича было подкусывать терапевтов.

— Давай. Все равно ваша терапия лечит по принципу: да исцелися сам.

Песков молчал.

— Кстати, у вас гнойный перикардит появился. Что это за больной?

«Ну и пройдоха, — с раздражением подумал Песков о Голубеве. — Везде раззвонил. Все уже знают. Это возмутительно!»

— Плох. Очень плох, — сказал Песков, поворачиваясь вполоборота к Николаю Николаевичу.

— Давай оперировать.

Кленов уже загорелся, сдернул очки, в глазах появился азартный блеск.

— Это бессмысленно. — Песков покачал головой, зашептал в самое ухо Кленова: — Что я тебе труп привезу? Если желаешь, можно сделать тактический ход: чтобы он умер не у нас, а у вас...

— Ты говоришь, не операбельный?

— Да-с. Не надо его тревожить. Все равно не поможете.

— Как его фамилия?

— Гм... фамилия... Сухачев.

— Я посмотрю его на всякий случай.

Песков покашлял. В нем боролось несколько чувств: глубокое убеждение, что больному ничто не поможет, боязнь ответственности, если операция, не дай бог, состоится, и, наконец, болезненное самолюбие — все идет както мимо него.

— Взгляни, если хочешь. Но, по-моему, напрасен весь этот «новаторский» шум. Лучше оставить больного в покое.

В проходной госпиталя полковникам сообщили, что нужно идти в конференц-зал на совещание.

Когда они поднялись на третий этаж, там уже все были в сборе. Офицеры сидели группами, большинство в конце зала. Халаты повесили перед собой на спинки стульев.

Песков и Кленов прошли в первые, полупустые, ряды — Иван Владимирович налево, Николай Николаевич — направо.

Увидев Кленова, Голубев поднялся.

Николай Николаевич шел своей особой, подпрыгивающей походкой. Туго набитый портфель он носил не в руке, а под мышкой, очки поднял на лоб и то и дело раскланивался с товарищами, блестя гладко выбритой лоснящейся головой.

Подождав, пока Николай Николаевич сядет, Голубев подошел к нему, поздоровался.

— Ба, дорогой товарищ! Что же вы не заходите! — Николай Николаевич долго жал руку Голубева. — Вам отыграться надо.

— Зайду, — пообещал Голубев. — А сейчас у меня к вам важное дело. Разрешите?

— Пожалуйста.

Николай Николаевич подвинулся, уступил место Голубеву и, глядя на собеседника поверх очков, приготовился слушать.

— Помните, я вас позавчера спрашивал о применении пенициллина? — начал Голубев.

— При гнойных перикардитах? Помню.

Голубев постучал кулаком по колену:

— Так вот, я не зря спрашивал.

— Догадываюсь, дорогой товарищ.

— У меня есть такой больной, — Голубев помедлил, будто раздумывая — говорить дальше или нет, затем решился: — Не согласитесь ли вы взять его к себе и оперировать? А туда, — он приложил руку к груди, — влить пенициллин так же, как при перитонитах?

Николай Николаевич заерзал на стуле, сдернул очки, почесал дужкой за ухом.

— Надо сперва посмотреть больного. Как его фамилия?

— Сухачев.

— Су-ха-чев? — медленно переспросил Николай Николаевич, и лицо его стало мрачнеть.

Только что об этом больном говорил с ним начальник отделения Песков; он упоминал о «тактическом переводе», о «новаторском шуме». Теперь понятно, кого Песков имел в виду. «Ну, ничего, я миндальничать не буду. Я отучу этого хитреца от порочной тактики».

— Молоды еще, дорогой товарищ, меня за нос водить, — неожиданно сердито сказал Николай Николаевич. — Не выйдет.

Голубев смотрел на Кленова, ничего не понимая.

— Нечестно так, дорогой товарищ, — гневно продолжал Николай Николаевич. — Так у нас не ходят.

Большой лоб и бритая голова Николая Николаевича покрылись крупными каплями пота. Он достал платок и, морщась, как от боли, вздохнул и повторил с упреком:

— Стыдно.

— Разрешите... — произнес Голубев.

— Не разрешу, — повышая голос, проговорил Кленов и уставил свой толстый палец в грудь Голубеву. — Не разрешу хитрить. Вы думаете, вы умный, а я дурак?..

В этот момент послышалась команда: «Товарищи офицеры!»

Все встали. Генерал поздоровался, попросил пересесть поближе.

Голубев прошел на свое место.

Генерал сел за стол, накрытый красным бархатом, подождал, пока наступит тишина, и предоставил слово офицеру штаба.

Началась читка последних приказов.

Голубев не слушал. «Что же это происходит? — думал он. — За что он так? С кем бы посоветоваться?» Он огляделся и заметил знакомую голову. Она виднелась в первом ряду над всеми головами.

Это был Песков.

Сосед Пескова достал из кармана металлическую коробочку с монпансье и угостил Ивана Владимировича. Голубев видел, как Песков вытянул два тонких, костлявых пальца

и будто щипчиками взял только одну конфетку, забросил ее в рот, еле заметно кивнул головой — поблагодарил и опять замер в привычной строгой позе, вытягиваясь и распрямляя спину.

В воображении Голубева вдруг связались воедино и эти вытянутые пальцы, которыми Песков достал конфетку, и то, что он взял только одну и не положил, а забросил в рот, и его разговор о больном, и крик на консилиуме, и вчерашний неожиданный приход в палату, и сегодняшний эпизод с Кленовым, — и Голубев понял, что он и начальник — совершенно разные люди, что новое столкновение с Песковым неизбежно.

Как только окончилось совещание, Голубев, опережая товарищей, выскочил из конференц-зала и быстрым шагом направился в партбюро. Он хотел посоветоваться с Бойцовым.

На лестнице его кто-то нагнал, взял под руку. Он оглянулся — перед ним стоял Бойцов.

— Завтра в одиннадцать ноль-ноль консилиум по поводу Сухачева.

— Что?! Кто сказал?

— Собирает сам начальник госпиталя. Я кое-кого пригласил.

— Это очень кстати, — возбужденно воскликнул Голубев. — Очень!

Он круто повернулся и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал по лестнице в свое отделение.

18

В ординаторской было просторно, тепло и уютно. Шесть столиков стояли у стен, на каждом лампа под зеленым абажуром. Два топчана для осмотра больных. Высокие пальмы у окна. В простенке — большое трюмо на дубовой подставке. Здесь царила какая-то особая, мягкая и настороженная, тишина, какая бывает только в госпиталях и больницах.

В ординаторской можно было сосредоточиться, подумать, посоветоваться с товарищами. Тут же стоял небольшой шкаф с самыми необходимыми книгами, справочниками, таблицами.

Больные, приходя в ординаторскую для первичного осмотра, поддавались этой обстановке и рассказывали врачу все самое сокровенное, самое интимное.

Это была комната человеческих секретов — своеобразный медицинский сейф, где оставлялось и надежно хранилось все самое важное и значительное. Доступ к сейфу имели особые лица — врачи, облеченные высоким доверием людей...

Голубев вбежал в ординаторскую. Все подняли головы. Он направился к майору Дин-Мамедову и, не скрывая радости, громко объявил:

— Завтра новый консилиум для Сухачева.

Майор Дин-Мамедов привскочил:

— Правду говоришь?

— Правду. Сам начальник госпиталя собирает.

Голубева окружили товарищи.

— Надеюсь, это мой совет помог? — спросил Аркадий Дмитриевич.

— К сожалению...

Открылась дверь кабинета, послышался голос Пескова:

— Леонид Васильевич!

Песков усадил Голубева рядом с собой и заговорил певуче и мягко:

— Леонид Васильевич, я хотел бы побеседовать с вами не как начальник, а как старший товарищ.

— Пожалуйста...

— Леонид Васильевич, я хотел бы предостеречь вас, гм... Терапия, изволите видеть, не математика. Да-с. Терапия — наука не точная. — Он сделал паузу, кашлянул: — Мне понятны все ваши высокие стремления. — Песков покосился на портрет Павлова в позолоченной раме. — Я тоже когда-то был таким, как вы.

«Зачем он меня отговаривает? — подумал Голубев. — Разве он не понимает, что дело вовсе не во мне, а в больном?»

— Вы еще полностью не осознали... не пережили на собственном горьком опыте, — поправился Песков, — насколько ответственна работа терапевта. Одно неточное слово, не та цифра, запятую не там поставишь, и... суд.

— Я не боюсь ответственности, — сказал Голубев.

Песков придвинулся к нему ближе:

— Вы совершенно не знаете, чем это кончится. Да-с. Может кончиться благополучно, а вероятнее всего — плохо. Пункция-то не дала ожидаемого эффекта.

— Это ничего не значит... Операция и пункция — две разные вещи.

— Согласен. Но представьте, Леонид Васильевич, — я не хочу этого, но представьте, — что больной... умрет. Что скажут недоброжелатели? Скажут: эксперименты на людях.

— Так скажут глупцы, — прервал его Голубев. — Это не эксперимент. Это правильный шаг, пусть неизведанный, но правильный.

— Как знать!

— Я перечитал монографию. Пенициллин не может повредить, но помочь может.

Песков посмотрел на Голубева из-под нависших бровей. Голубев выдержал взгляд, подумал: «Непонятный вы человек, Иван Владимирович: то приезжаете ночью, чтобы спасти больного, то противитесь тому, что может его спасти».

— Поймите, Леонид Васильевич, я вам добра желаю...

— А больному?

— Гм... больному. Больному я не враг. О нем я, может быть, больше вас забочусь. Но есть вещи, против которых мы бессильны.

Вы — человек способный, молодой, у вас вся карьера впереди...

— Простите, товарищ начальник, я не карьерист.

— Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в случае неудачи все станут говорить: «Ах, это тот Голубев, из-за которого больной погиб? Не желал бы я у него лечиться».

— Он еще не погиб, товарищ начальник, и я верю, что его можно спасти.

Лицо Пескова покрылось пятнами, он помедлил, видимо сдерживая раздражение.

— Да не обольщайтесь вы призрачными иллюзиями. Да-с!

— Значит, покорно ждать смерти человека?

— Я этого не сказал. Я из самых благородных намерений предупреждаю вас о тех неприятностях, на которые вы сами себя толкаете. Больной умрет, начнутся расследования, разговоры...

— Повторяю, я ответственности не боюсь и ничего противозаконного не предлагаю. — Голубев поднялся. — Разрешите идти?

— Пожалуйста. Но запомните — я вас предупреждал. Чтобы ко мне потом никаких претензий не было.

— Это я вам обещаю.

— Я лично... гм... буду категорически возражать, потому что люди не кролики...

— Как скажет консилиум, товарищ начальник!

19

Ветер утих, и к вечеру подморозило. Тучи нависли над самыми крышами. Ни звезд, ни луны. Валил густой лохматый снег. Он был пушистый и разлетался из-под ног в стороны. По главной улице проносились покрытые снегом машины. Они поднимали снежные вихри. В пучках света мелькали серебристые снежинки.

— Чудесно, — сказала Наташа, плотнее прижимаясь к руке мужа.

— Неплохо, — сдержанно подтвердил Голубев.

Наташа покосилась на него, Леонид был сегодня необычно молчалив и задумчив. Что-то волновало его. И Наташе очень хотелось отвлечь мужа от тревожных дум.

Голубев нарочно уговорил Наташу идти в театр пешком. Ему необходимо было собраться с мыслями. Но мысли путались. Разговор с Песковым не то чтобы поколебал его желание бороться за операцию, нет. Но он оставил в душе неприятный осадок. Особенно запомнились слова: «Ах, это тот Голубев, у которого умер больной. Не желал бы я у него лечиться».

«А что, если начальник прав? У него многолетний опыт. Возможно, он из самых благородных побуждений предупреждал меня. Я же действительно рискую своей врачебной репутацией. Что же делать? Отступать, бить

отбой? Сказать завтра: товарищи, извините, я не продумал свое предложение. Я его снимаю. Нет, доктор Голубев, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Чего ты напугался? Ответственности, риска? А Сухачев?..»

Голубев живо представил себе осунувшееся, покрытое золотым пушком лицо Сухачева, лихорадочный блеск его глаз, пересохшие синие губы, которые он беспрестанно облизывает, повторяя одно и то же: «пить». «Нет, отступать нельзя. Чего бы это мне ни стоило, я должен спасти больного. Я должен даже рискнуть своей репутацией. Да и вообще я не смею думать о себе и должен думать только о нем».

— Леня, что-нибудь случилось? — не выдержала Наташа.

— Нет, Тата. — Заметив ее встревоженный взгляд, Голубев подумал: «Не нужно, чтобы она волновалась». Ему вспомнилось, как на фронте в дни боев Наташа присылала записки из медсанбата, умоляя беречь себя. — Все хорошо, — успокоил он.

— Давай посидим, еще есть время, — предложила Наташа.

Они свернули в городской садик. Голубев смахнул со скамейки легкий пушистый снег, усадил жену.

— Красота какая, — сказала Наташа, зная, что Леонид любит зимние пейзажи. — Как у нас в Сибири.

В саду было тихо. Поток людей и машин остался в стороне. Земля, укрытая снегом, была на редкость белая и чистая. По ней еще никто не ходил, снежок лежал нетронутым ровным слоем. Разлапистые высокие деревья стояли, не шевеля ни единой веточкой. А снег все падал. Возле фонарей кружились снежинки.

— Как у нас в Сибири, — повторил Голубев, с восхищением разглядывая и деревья, и фонари, и решетку, и этот снег.

— Но с некоторых пор я больше люблю весну. Ты помнишь, Леня?

— Еще бы!

Голубев ясно вспомнил, как они стояли в прифронтовом лесу, прислонившись к сосне. Молчали. Над головами в небе плыли наши бомбардировщики. Когда их гул стих, неожиданно послышалась заливистая трель соловья. Они посмотрели друг на друга и счастливо улыбнулись. И улыбками, взглядами сказали все. До этого вечера они прятали свою любовь, считали ее неуместной на войне — ведь вокруг умирали люди. А соловейка вдруг разрешил все сомнения. Он пел несмотря ни на что...

Голубев взглянул на Наташу. Ее шапочка, воротник шубы были густо присыпаны снегом, брови были белые, и лицо казалось молодым, чистым, красивым. Она была сейчас такая, какой он помнит ее с начала знакомства, с

первого курса. Голубев наклонился и поцеловал Наташу в холодные, упругие губы.

— Идем.

Он взял ее под руку и осторожно, точно она могла упасть, повел к театру.

— Ну, а теперь расскажи, что случилось? — спросила Наташа, заглядывая ему в глаза.

— В театре расскажу.

Они вошли в зал, сели в мягкие, покрытые красным бархатом кресла.

— Так вот, Тата, — сказал Голубев, беря ее за руку. — Завтра на одиннадцать ноль-ноль назначен второй консилиум. Если он разрешит оперировать, тогда, может быть, удастся спасти Сухачева.

— Ох, Леня, это ответственно. Ты все продумал?

— Продумал, и прочитал все, что есть по этому вопросу, и посоветовался с кем надо...

— Тогда нечего волноваться, — уверенно сказала Наташа.

Голубев усмехнулся.

— Как же не волноваться? Неизвестно, чем все кончится. В моей практике это впервые.

— Но ведь ты уверен, что прав?

— Если бы от моей веры все зависело! Ты знаешь, что мне сегодня сказал начальник?

Наташа укоризненно покачала головой:

— Что может сказать оппонент, да еще такой, как ваш начальник? Как ты этого не поймешь? Просто поражаюсь.

— Но он из добрых побуждений...

— Выбрось все его побуждения из головы. Думай только о своих доводах и о больном... Честное слово, Леня, не стоит из-за этого расстраиваться, — проговорила она мягко и проникновенно.

Голубев ничего не сказал, только пожал ее руку крепко-крепко, как мог.

В зале погас свет, раздвинулся занавес.

20

К вечеру, после второго прокола, Сухачеву стало хуже. Он понял: пункция — не спасение. И то, что к нему приходило больше докторов, чем к другим больным, и то, что они что-то такое решали и, как видно, не могли решить, и то, что возле него все время находилась нянечка или сестра, — все подтверждало: его дела плохи. Товарищи по палате старались не шуметь, проходили мимо на цыпочках. Сухачев не раз замечал, что, войдя в палату с улыбкой, товарищи, посмотрев на него, мгновенно гасили эту улыбку, и он как бы читал в их взглядах: «Как он? Жив еще?».

Хохлов, подсаживаясь на край соседней койки, встряхивал рыжей головой и обяза-

тельно говорил что-нибудь вроде: «Терпи, казак, атаманом будешь» или: «Даже плохая жизнь лучше хорошей смерти».

И нянечка Василиса Ивановна — круглая, добрая нянечка, своей простотой и обходительностью напоминающая мать, смотрела на него жалостливо и очень старалась угодить ему.

В смерть Сухачев не верил. Как ни тяжко ему было, он все-таки не мог себе представить, что это конец. Ему всего-навсего двадцать лет. Он еще не жил по-настоящему. И как же так вдруг умереть? Ему, который так любит жить. Любит выезжать ранним весенним утром в поле на тракторе, когда солнце только-только выглянуло из-за леса, когда над землей начинает клубиться легкий парок; любит уставать на работе, слушать песни, плясать «русскую»; любит Настю...

На грудь наваливалось что-то тяжелое, не хватало воздуха. Сухачев протяжно стонал.

— Сынок, что с тобой?

«Нянечка, Василиса Ивановна. Какой у нее задушевный голос! Ради такого голоса надо жить. Надо жить...»

— Поднимите меня... повыше, — просил Сухачев, борясь с одышкой.

— Выше некуда.

— Поднимите...

Василиса Ивановна приподнимала Сухачева, поправляла подушки и укладывала его на то же самое место.

«Хорошо бы выучиться на механика. Работать в МТС. Или на электрика. Теперь у нас своя электростанция... А если умру?» Он совершенно сознательно задал себе этот вопрос и сам же деловито ответил: «Нельзя».

«А как же мать? Разве я могу оставить ее одну? Сестренка вот-вот выйдет замуж: Ванька Терентьев пороги обивает. Не могу. Когда отец уходил на фронт, он наказывал: «Помогай матери. Гляди, не бросай ее...»

Всю ночь, весь день и вторую ночь бредил, стонал, боролся с мыслями о смерти Сухачев. Утром двадцать первого октября он услышал звук баяна, открыл глаза, увидел перед собой что-то белое, большое, долго всматривался, наконец узнал нянечку, глубоко, прерывисто, со стоном вздохнул и проговорил:

— Есть... хочу...

Василиса Ивановна выскочила из палаты, вернулась с сестрой, рыженькой Аллочкой.

— Больной, вы есть хотите?— спросила сестра строго и официально.

— Хочу.

Он съел тарелочку вкусной рассыпчатой гречневой каши с маслом, выпил полстакана молока, утер полотенцем губы. Сил как будто прибыло. Голова работала ясно.

«Никакой смерти. Совсем о ней не думать. Боевой приказ: не думать о смерти».

— Василиса Ивановна!

— Слушаю, сынок.

Василиса Ивановна склонилась над ним,

посмотрела в глаза — они были сегодня особенные, горящие внутренним, решительным огнем.

— Я вам... секрет... вот... я жить... жить буду...

— Будешь, сынок, будешь.

Василиса Ивановна часто заморгала белесыми ресницами и поспешила отвернуться.

Неожиданно к Сухачеву пришел незнакомый врач. Он назвал себя хирургом и, осмотрев Сухачева, сказал, что необходима операция. «Разрезать сердце».

— Зачем? — выкрикнул Сухачев.

— Нужно, — сказал хирург. — Для вас нужно.

Он ушел. А Сухачев все никак не мог успокоиться. Операция ему представлялась чем-то страшным, невыносимым. «Как же сердце резать? Разве это возможно?»

Над дверями переплетались провода; гнездо маленьких белых изоляторов напомнило ему семейку грибов — боровиков, которых так много в верховьях Знаменки. Сухачев попробовал считать и пересчитывать изоляторы, больше ни о чем не думать, успокоиться. Но это не помогло. «Как же сердце резать?» — тревожила его тяжелая мысль...

Ни свет ни заря в сто седьмой гвардейской появился Песков. Больные еще заправляли койки, умывались, готовились к завтраку. На-

чальник отделения был необыкновенно приветлив, с каждым перекинулся словечком, спросил о здоровье, о настроении, осведомился, нет ли претензий, жалоб, вопросов. Затем подозвал к себе Кольцова и не приказал, а попросил, чтобы в палате сегодня был «особый порядок». Кольцов поглядел на утомленное лицо начальника и ответил, что «порядочек» в палате всегда соблюдается, сегодня они «также не подкачают».

Больные отправились на завтрак. Песков подошел к Сухачеву, попросил оставить его с больным наедине. Сестра и няня поспешно вышли из палаты.

— Ну-с.

Песков пододвинулся поближе к больному.

Сухачев, не поворачивая головы, покосился на «белого старика» и снова отвел взгляд в сторону. В глазах у него стояли слезы.

— Как живем, Павел Данилович? — мягко спросил Песков.

К удивлению Сухачева, «белый старик» улыбался: на щеках и возле ушей кожа собралась гармошкой, клочки бровей разошлись к вискам, показались тусклые зубы.

— Замеча... тельно, — с трудом выдохнул Сухачев и вдруг всхлипнул и отвернулся от Пескова.

— Что такое? А? Ну-ка, говорите.

— Был хирург... предлагал... операцию...

— Какую операцию?

— Сердце... сердце резать.— Сухачев беззвучно заплакал.

Песков возмутился: тревожат больного... всякие «новаторы»... черт знает что!

— Какая там операция? — сказал он удивленно. — Зачем такому молодцу операция? У вас и так дело пойдет на поправку.

Сухачев застонал, стискивая зубы, и замотал головой:

— А он... он говорит... нужно.

— Гм... говорит. Он просто с вами посоветовался, хотел узнать ваше мнение. Да-с.

— Где? — прохрипел Сухачев. — Где мой доктор?

— Придет ваш доктор. Не волнуйтесь.

— Где мой доктор? — повторил Сухачев и попытался было сползти с кровати.

— Хорошо. Я вам его пришлю, — сказал Песков, удерживая Сухачева на подушках. — А вы успокойтесь, все будет нормально.

21

Все в это утро были напряжены, все ждали прихода начальства, разговоры не клеились, истории болезней не писались. Ординаторы ежеминутно поглядывали на дверь. Цецилия Марковна то и дело прижимала кулачки к груди и вздыхала.

— Помолчи, пожалуйста, — попросил майор Дин-Мамедов. — Регулируй дыхание.

Даже доктор Талёв поддался общему настроению. Он ходил по ординаторской, заложив руки за спину.

Голубев сидел за своим столом, рисовал на промокашке маленькие фигурки. Чернила расплывались, фигурки выходили уродливыми. Он зачеркивал рисунок жирной чертой и начинал новый. Очень хотелось посмотреть на часы. Но он сдерживался — не смотрел.

Протяжно гудел гудок — на соседней электростанции выпускали пар. Гулко хлопали двери — кто-то входил или выходил из отделения, — рука с пером всякий раз замирала, на бумаге оставалась клякса. Голубев делал над собой усилие: не поднимая глаз, продолжал рисовать.

Скрипнула дверь кабинета. Показался Песков. Все утро он сидел запершись, что-то писал. Вероятно, готовился к консилиуму.

Ординаторы встали. Песков поздоровался не общим поклоном, как всегда, а с каждым за руку.

Голубев стоял и ждал — подойдет начальник или нет, подаст руку или пройдет мимо?

Песков подошел, подал руку. Оба внимательно взглянули друг на друга.

Первый явился на консилиум майор Бойцов. Затем — Николай Николаевич Кленов со вздернутыми на лоб очками. Раскланиваясь, он направился прямо в кабинет.

Ровно в одиннадцать ноль-ноль в ординаторскую вошли два генерала — из-под их халатов виднелись широкие красные лампасы. Впереди бодро шагал Сергей Сергеевич Пухов. За ним — пышущий здоровьем начальник госпиталя.

Подвижной, сухонький генерал показался Голубеву знакомым. «Где же я его видел?» — старался он припомнить.

Через несколько минут в кабинет пригласили доктора Талёва, подполковника Гремидова, Брудакова и Голубева.

— Разрешите мне? — попросил майор Дин-Мамедов.

— Гм... Нельзя.

Майор Дин-Мамедов заговорил нарочито громко, чтобы услышали в кабинете.

— Почему нельзя? Учиться надо...

Дверь закрылась перед самым его носом. Но не успел майор Дин-Мамедов выругаться с досады, как дверь приоткрылась и Песков недовольным голосом сказал:

— Войдите. Начальник госпиталя разрешил.

Майор Дин-Мамедов вошел в кабинет и, спросив разрешения, сел в кожаное кресло, в стороне от остальных.

За столом начальника сидел генерал Луков. Он о чем-то совещался с Песковым, повернув в его сторону свою серебристую красивую голову. Слева от генерала Лукова сидел профессор Пухов; он оживленно беседовал с

Бойцовым, похлопывая его по колену; справа — откинувшись в кресле, Николай Николаевич Кленов, ближе к двери, на диване, — Голубев и Гремидов, на другом диване — доктор Талёв и Аркадий Дмитриевич Брудаков.

Гремидов пощипывал ус, молчал. Голубев был выбрит, свеж и бодр.

— Товарищи, — сказал генерал Луков, окидывая взглядом присутствующих, — я собрал вас для того, чтобы решить один важный и весьма срочный вопрос. У нас лежит тяжелый больной, Сухачев, с гнойным перикардитом. Лечащий врач выдвинул смелое предложение. Предложение это рискованное, еще у нас не проверено на практике. — Он повернулся к Пескову, тот одобрительно закивал головой. — Нам следует решить: принять его или отвергнуть?

Майор Дин-Мамедов заерзал в кресле. От него не ускользнули ни благосклонность генерала к Пескову, ни одобрительные знаки Пескова. «Нехорошо», — подумал он.

— Но прежде, — продолжал генерал, — познакомимся с больным. Прошу вас, гвардии майор, доложить.

Майор Дин-Мамедов подался вперед, выжидающе и настороженно уставился на Голубева, как бы собираясь при первой необходимости броситься к нему на помощь.

Голубев поднялся, подошел к столу, взял историю болезни Сухачева и, не заглянув в нее, заговорил спокойно, только немножко

тише и медленнее, чем обычно. Он рассказал о больном и хотел перейти к сути своего предложения.

Генерал остановил его:

— Быть может, будут вопросы?

— Скажите, — Кленов слегка приподнялся, — с каким диагнозом прибыл больной и какой диагноз был поставлен в нашем приемном покое?

Голубев вытер ладони о халат и ответил недрогнувшим голосом:

— Поступил больной с диагнозом — «пневмония». В приемном покое был поставлен диагноз — «центральная пневмония». Этот диагноз выставил я, как дежурный врач. Этот диагноз неточный. Правильный диагноз установил полковник Песков.

— Бывает, — быстро отозвался Сергей Сергеевич Пухов. — Не ошибается тот, кто не работает.

Он быстрым движением взял историю болезни со стола и одобрительно кивнул Голубеву.

— Я знал, что сердце задето, но в чем, собственно, дело, я не знал, — сказал Голубев.

— Доложите о вашем предложении, — велел генерал.

Голубев помедлил, одернул халат.

— Я предлагаю: вскрыть сердечную сорочку, выпустить гной и ввести пенициллин в больших количествах.

Майор Дин-Мамедов заметил, как после этих слов Песков неодобрительно покачал головой.

— Почему я это предлагаю? — продолжал Голубев. — Потому что пункция не дает желаемого эффекта, операция же, как всем известно, приводит к образованию панциря. Стало быть, нужно искать новые средства. — Он достал из кармана стетоскоп и принялся разглядывать его. — Мудрая врачебная заповедь говорит: не вредить. Пенициллин не повредит больному. — Голубев обратился к профессору, точно сдавал экзамен: — Я только что прочитал монографию по антибиотикам. Теоретически пенициллин должен помочь больному.

Профессор ничего не сказал.

— Хирурги, например, — Голубев повернулся к Кленову — Николай Николаевич вертел в руках очки и был, казалось, поглощен этим занятием, — хирурги применяют пенициллин при перитонитах с хорошим результатом. Так почему бы и нам в данном случае не применить пенициллин? Мне кажется, он не даст панциря. — Голубев сделал шаг к столу, произнес громче и резче: — Я считаю, что нам нужно действовать смелее, иначе мы не сдвинем нашу терапию с места.

— Правильно, — поддержал Бойцов.

— У вас есть еще что-нибудь по сути предложения? — спросил генерал.

— Нет.

— Тогда садитесь. — Генерал повернулся к Пескову: — Иван Владимирович, ваши соображения?

Песков вытащил из кармана какие-то бумажки, торопливо стал их перебирать и все никак не мог найти того, что ему было нужно. Наконец, не вытерпев, он заговорил без шпаргалки:

— Уважаемые товарищи. Перед нами банальный, вполне ясный случай. — Песков сделал паузу, взглянул на начальника госпиталя, на профессора, проверяя, какое впечатление производят его слова. — Наш высокоуважаемый начальник госпиталя, — продолжал он с подчеркнутым пафосом, — собрал этот консилиум motu proprio [1]. И мы ему весьма благодарны за внимание.

— Говорите о деле, — прервал генерал.

Песков учтиво наклонил голову.

— Итак, перед нами банальный случай, но имеется предложение молодого коллеги. — Песков развел руками. — Собственно, я не вижу никаких доказательств, которые бы убедительно говорили за это предложение. Да-с. — Он иронически улыбнулся. — Кроме разве пылкости молодого коллеги. Благие порывы свойственны молодости. К сожалению, этого недостаточно. Нужны убедительные аргументы. А их-то и нет. Да-с, нет. В самом деле, уважаемые товарищи, что нам предла-

[1] По собственной инициативе.

гают? Операцию. Это не ново. Ввести пенициллин? Но терапия пенициллином находится in statu nascendi, в состоянии зарождения.

— С бородой, — заметил профессор Пухов, быстро оборачиваясь к Пескову. — Ваш младенец с бородой. Да, да. Пенициллин применяется уже без малого десять лет.

Песков нахмурился, покашлял:

— Прошу извинить, Сергей Сергеевич. Но я что-то не слыхивал, чтобы его применяли при гнойных перикардитах. В нашем госпитале не применяли. Быть может, Леониду Васильевичу удалось наблюдать такой случай, он помоложе, порасторопней. Но и он не порадовал нас таким сообщением.

Майор Дин-Мамедов заметил, как по лицу Аркадия Дмитриевича Брудакова скользнула недобрая улыбка. «Забьют они его», — подумал Дин-Мамедов, крепко сжимая кулаки.

— Нас уверяли, — продолжал Песков, — что пенициллин не повредит больному. Что ж, в это можно поверить. Гм... Но это еще не значит, что он поможет больному.

— А что может помочь? — спросил Бойцов.

— К сожалению, на этот глубокомысленный вопрос я ответить не могу. Скажу лишь, что решать вопрос о применении нового лекарства надо не у койки больного, а в лаборатории. Мне, по крайней мере, так кажется. А молодежь у нас любит пошуметь, да только от шуму-то у больных голова болит.

— Разрешите, товарищ генерал? — Голубев резко поднялся. — Какой же тактики предлагает придерживаться товарищ начальник?

Песков свел брови на переносье:

— Гм... Врачебной, Леонид Васильевич. А она говорит: семь раз отмерь — один раз отрежь.

— Но вы же признали, — заметил Голубев, — что пенициллин не повредит больному. Стало быть, осторожничать тут незачем?

— Пусть даже не повредит, но, повторяю, неизвестно еще — поможет ли он? Так зачем же, объясните мне, травмировать больного? Ведь операция — глубокая травма.

— В данном случае, — сказал Голубев, — она единственный путь к спасению больного.

Песков повысил голос:

— Я не думаю, чтобы уважаемый консилиум составил мнение, что я враг больному, а вы его единственный спаситель. Я тоже хотел бы помочь ему. Да-с, хотел бы. Но, простите меня, не таким легкомысленным способом... Да и есть ли средства помочь в данном случае?

Генерал Луков постучал карандашом по столу:

— Иван Владимирович, успокойтесь, пожалуйста.

Песков поклонился генералу, сел.

— Кто желает высказаться?

— Сперва давайте больного посмотрим, — предложил Кленов.

— Мне кажется, принципиально вопрос можно решить без больного, — вставил Песков, — к тому же вы, Николай Николаевич, его уже смотрели и даже операцию предлагали.

— Нет, извините, я у больного еще не был, к сожалению. С утра — срочная операция. Был мой ординатор.

— Позвольте мне? — попросил слова Аркадий Дмитриевич.

Он встал, заложил руки за пояс халата, слегка приподнялся на носках:

— Я скажу несколько слов. Как совершенно справедливо заметил здесь товарищ начальник, опробовать новые лекарства следует в лабораториях, я бы добавил — в клиниках и научно-исследовательских институтах. Это — аксиома. В отношении шума я тоже вполне согласен с товарищем начальником. Шуметь нечего. Шум, как нам известно, это отрицательные эмоции. Но, с другой стороны, я не могу не обратить вашего внимания на смелость и, я бы сказал, оригинальность предложения моего коллеги, Леонида Васильевича Голубева. Ввести пенициллин в больших количествах прямо в полость перикарда — это, товарищи, весьма интересно. Поможет ли это больному? Я думаю, что наш консилиум разберется и, безусловно, вынесет свое мудрое решение.

— А ваше мнение? — поинтересовался Сергей Сергеевич и круто повернулся в сторону Брудакова.

— Мое мнение? — Аркадий Дмитриевич несколько раз приподнялся и опустился на носках. — Мое мнение — сделать все от нас зависящее, чтобы спасти больного.

Глаза Сергея Сергеевича лукаво блеснули.

— Не надо сбивать человека, — буркнул Песков.

— Еще кто желает?

— Давайте посмотрим больного, — повторил Кленов.

— Я не понимаю, к чему спешить? — возразил Песков. — Надо же прежде решить, с чем мы идем к больному.

— Когда посмотрим, тогда и решим, — сказал Кленов.

— Не понимаю, гм. . .

— Я тоже считаю, лучше обсуждать вопрос после того, как узнаешь больного, да, да, — поддержал Сергей Сергеевич.

— Тогда попрошу всех в палату, — сказал генерал Луков.

Майор Дин-Мамедов поднялся с кресла и подскочил к Голубеву.

— Наступай, — шепнул он ему, — энергичнее действуй.

Сто седьмая гвардейская с подъема готовилась к приходу начальства. Песков распорядился выдать старшине вне очереди новые простыни и наволочки. Он же приказал стар-

шей сестре снять санитарок со всего отделения и «привести палату в божеский вид».

К одиннадцати ноль-ноль сто седьмая гвардейская была намыта, натерта до блеска. Койки стояли ровными, как по ниточке, рядами. Наволочки и простыни были настолько белоснежными и так наглажены, что жаль было на них ложиться. Больные, побритые, одетые в новенькие белые костюмы, сидели на табуретах, каждый возле своей койки. Кольцов прохаживался около дверей, ожидая начальства.

За стеклянными дверями показались доктора. Впереди всех маленький седой старичок. Кольцов вытянулся, чтобы представиться. Старичок замахал руками:

— Сидите, пожалуйста.

Увидев под халатом старичка красные лампасы, Хохлов ткнул старшину в бок и прошептал:

— Генерал.

Вошли начальник госпиталя и Бойцов.

— Ты смотри, Никита, второй генерал!

— А что тут особенного? Когда мой братишка в госпитале лежал, к ним маршал приходил. А ты что думал?

Доктора встали полукольцом у кровати больного. Голубев им что-то рассказывал. Сухачев лежал с закрытыми глазами. Голубев положил ему на лоб руку. Сухачев открыл глаза, пригляделся, будто из темноты попал

на свет, узнал своего доктора, брови у него дрогнули, и он неожиданно для всех заплакал.

— Что с тобой?

Сухачев посмотрел на Голубева с укором, хотел что-то сказать, но не мог и заплакал еще горше. Крупные слезы медленно текли по щекам, сползали на подбородок, на шею. На подушке виднелись большие мокрые пятна — видно, плакал он не в первый раз.

— В чем дело? — спросили сразу несколько человек.

— Понятия не имею.

Голубев взял полотенце, вытер лицо Сухачеву, участливо спросил:

— Что случилось, Павлуша?

Сухачев ткнул себя пятерней в грудь, выдавил сквозь слезы:

— Не хочу, чтобы... сердце резали...

— Позвольте-ка, я им займусь, — вмешался Сергей Сергеевич.

Он привычным жестом подхватил поданный ему табурет, сел, быстро потер свои маленькие руки.

— Давайте-ка отдохнем от слез. Видите, сколько здесь врачей? Все к вам пришли, чтобы помочь, вылечить. Да, да. Здесь начальник госпиталя, генерал. И я — тоже генерал. Вот! — Сергей Сергеевич откинул халат, показал лампасы и дружески подмигнул больному. — Операция необходима. Да, да. Чтобы вас быстрее вылечить.

Сухачев прерывисто вздохнул, размазал ладонью слезы по лицу, упрямо заявил:

— Резать... не дам...

Консилиум возвратился в кабинет. Генерал Луков сел за стол и сказал:

— Продолжим работу.

Голубев встал и повторил свое предложение, только в более настойчивой форме.

— На чьи работы вы можете сослаться? — прервал его Песков.

— Работ по этому вопросу я пока что не читал.

— Видите! Их нет! — воскликнул Песков.

— Надо пробовать, дерзать — вот вам и будут работы, — сказал Бойцов.

— Что вы-то лезете? — со злостью сказал Песков. — Вы же профан в медицине...

— Такие работы есть, — заметил Сергей Сергеевич.— И давайте не будем о профанах...

Лицо Пескова побелело, он вскочил и заговорил громко и быстро:

— Больной не выдержит этой операции. Да-с. Не выдержит. К тому же вы видите, как он настроен, этого тоже нельзя не учитывать.

— Это не принципиальный вопрос, — сказал Сергей Сергеевич. — Если мы решим оперировать, больного нужно уговорить.

— Почему вы соглашаетесь с Голубевым? Он же диагноза правильно поставить не может, — возмущался Песков.

— У вас тоже бывают ошибки. Ух, какие ошибки! — закричал майор Дин-Мамедов, вскакивая с кресла и размахивая руками.

Генерал Луков поднялся, властным тоном сказал:

— Тихо! Майор Дин-Мамедов, я вам разрешил присутствовать здесь, но кричать не разрешал. Прошу выйти.

Майор Дин-Мамедов неохотно покинул кабинет. Песков сидел опустив голову.

— Я прошу высказываться спокойно и неторопливо, — говорил генерал Луков, — и, главное, по существу дела.

Поднялся Сергей Сергеевич:

— Я, уважаемые товарищи, за операцию и за введение пенициллина. Доказывать не буду. Сошлюсь на работы Сысоева и Петрова, вышедшие в прошлом году. Так что работы по этому вопросу есть, почтеннейший Иван Владимирович. Непонятно, почему вы с ними не знакомы?

— Я категорически возражаю, — произнес Песков. — Я не хочу мучить больного и не подпишусь под этим консилиумом. Да и не я один. . .

Он посмотрел в сторону доктора Талёва и Аркадия Дмитриевича. Доктор Талёв дремал. Аркадий Дмитриевич рассматривал ногти.

Генерал Луков обратился к Кленову:

— Ваше слово!

Врачи замолчали. От того, что скажет Кленов, зависело все: ведь оперировать должен был он.

Николай Николаевич вышел из-за стола и неожиданно протянул свою мясистую, покрасневшую от частого мытья руку Голубеву:

— Извините, дорогой товарищ. Вчера я был неправ. Признаться, я вас заподозрил в не совсем благовидном поступке. Извините. Больного нужно оперировать.

Песков поднялся и официально заявил:

— Товарищ генерал, прошу с сегодняшнего дня не считать меня начальником отделения, так как мои слова...

— Вы военнослужащий, — строго оборвал его генерал Луков.

Дверь распахнулась, в кабинет влетела взволнованная, раскрасневшаяся Аллочка. Она, видимо, никого не замечала, кроме Голубева.

— Доктор! — крикнула она, и голос ее сорвался. — Больной сбежал!

— Как сбежал? Куда?

— Не знаю. Ничего не знаю. Все ушли на обед. Нянечка тоже. Я на минутку отлучилась. . . а его нет.

Врачи вскочили и, обгоняя друг друга, бросились в сто седьмую палату.

В кабинете остался Песков. Он стоял у стола и медленно рвал на мелкие клочки тезисы своего выступления. Впервые в жизни консилиум принял решение вопреки его воле.

22

Койка Сухачева была пуста. Простыня валялась на полу. Одеяла не было.

— В чем же он ушел? — спросил подполковник Гремидов. — У него нет ни тапочек, ни халата.

— Накрылся одеялом и ушел, — сказал Голубев, поднимая простыню с пола.

Пока все остальные врачи обсуждали вопрос, где же может быть больной, Голубев выбежал в коридор, осмотрелся. Мимо него в соседнюю палату прошло трое больных, и тотчас же там поднялся шум. На пороге появился больной в длинном не по росту халате, с возмущенным красным лицом.

— Безобразие! — крикнул он, направляясь к доктору. — Только отлучился в туалет — на мое место улегся какой-то незнакомый товарищ и не уходит.

Голубев бросился в палату.

С большим трудом Сухачева привели в чувство. Состояние его резко ухудшилось: дыхание участилось, стало поверхностным, пульс невозможно было сосчитать. Он метался на подушках, округлив глаза, испуганно смотрел по сторонам. На вопросы не отвечал.

Голубев долго разглядывал его посиневшие руки.

— Что ищешь? — шепотом спросил майор Дин-Мамедов.

— Тут где-то якорек был выколот. А теперь и не видно. Вот как посинел!

Профессор Пухов, быстро и внимательно осмотрев больного, сделал заключение:

— Тампонада сердца. Срочно пункцию. Завтра с утра на операцию.

— Делайте, как сказал профессор, — распорядился начальник госпиталя.

Не успели генералы уйти из палаты, как Сухачев, собрав последние силы, вновь попытался вскочить.

— Не дам... не дам... — выдохнул он и, обессилев, повалился в кровать.

К Голубеву подошел дневальный:

— Товарищ гвардии майор, вас к телефону.

Из проходной сообщали, что к больному Сухачеву издалека приехала мать и просит разрешения пройти к сыну.

Известие это было настолько неожиданным, что Голубев разрешил. Он положил трубку и подумал: «Откуда же она узнала о болезни сына? Зачем я ей разрешил пройти? Ему и без того плохо. Расстроится — будет еще хуже».

Голубев готов был позвонить в проходную, отменить свое решение, но по коридору протарахтела каталка. Сухачева повезли в процедурную...

Прасковья Петровна ожидала Голубева в ординаторской. Она неловко сидела в кресле, держа узелок с гостинцами на коленях,

и внимательно осматривала каждого входящего.

Голубев еще из коридора через открытую дверь увидел Прасковью Петровну. Она сидела не шевелясь, слегка пригнувшись, в шерстяной кофте, в черном полушалке. Голубев обратил внимание на ее руки — большие, с широкой кистью, почти мужские, видимо много потрудившиеся на своем веку. Кожа на руках была розоватой, крепкой, привыкшей к ветрам, к работе на холоде, ладони твердые, со следами земли в складках. Такие руки не боятся уколоться соломой, обжечься крапивой, они и вилы держали, и вязали снопы, и топором играючи могут исколоть добрую сажень дровишек, и вместе с тем они бывают удивительно ласковыми.

Голубеву вспомнилась деревенская изба, он, раненый, лежит на широкой деревянной кровати, и вот такая же простая женщина, с такими же рабочими руками, кормит его с ложечки и гладит по голове, приговаривая: «Ничего, соколик, поправишься. Оно ничего. . .»

Голубев стоял в коридоре и обдумывал, с чего начать трудный разговор. Он боялся слез, не переносил, когда женщины плачут.

Когда Голубев подошел к Прасковье Петровне, она привстала:

— Я к доктору Голубеву.

— Я и есть Голубев.

— А я — Прасковья Петровна Сухачева.

— Вы издалека приехали, Прасковья Петровна?

— Дорога дальняя. Из-за Омска. Только ведь я самолетом летела на старости-то лет. Это все наш председатель Игнат Петрович помог.

Глаза Прасковьи Петровны потеплели, в уголках губ мелькнула и погасла добрая улыбка.

— А откуда вы узнали о болезни сына?

— Так ведь телеграмму дали.

— Кто?

— Должно, начальник. . .

Прасковья Петровна полезла в карман, достала и развернула белую с красной полосой бумагу:

— Вот, Хохлов подписал.

Она насупилась и, не выдержав, спросила:

— Как Павлуша-то? Шибко плохой?

— Ну что вы, Прасковья Петровна. . .

— Я понимаю, доктор. Ежели бы не плохой, так нешто стали бы меня «молнией» вызывать.

Голубев помедлил, взглянув на Прасковью Петровну. Она стояла выпрямившись, обхватив узелок обеими руками. Из-под черного полушалка выбился седой волос и блестел на свету.

— Ваш сын, Прасковья Петровна, совершил героический поступок — спас утопающего товарища, но сам при этом простудился.

Болезнь у него тяжелая, но надежда на спасение есть.

И Голубев рассказал обо всем.

Прасковья Петровна не проронила ни слезинки, только плотно сжала губы и большими натруженными руками все мяла узелок, все мяла, будто искала что-то и не могла найти.

— К нему-то можно? — спросила она.

— Только вы его, пожалуйста, не расстраивайте.

— Постараюсь.

Голубев все-таки решил пойти в палату, подготовить больного.

Сухачев лежал высоко на подушках. После пункции ему стало лучше, дышал он ровнее.

— Как, Павлуша, себя чувствуешь?

Сухачев ответил не сразу, неохотно:

— Ничего.

— А я тебя порадовать хочу. К тебе. . .

Голубев не успел договорить. Сухачев вздрогнул, открыл рот, точно собирался крикнуть, но не крикнул, только прошептал еле слышно:

— Ма-ма. . .

— Лежи, Павлуша. Ложись, мой родной.

Прасковья Петровна большими, надежными руками взяла сына за плечи, осторожно уложила на подушки, наклонилась, поцеловала. Несколько минут они разглядывали друг друга и ни о чем не говорили. . .

Прасковья Петровна вышла из палаты через сорок минут. Голубев посмотрел на часы. Никто не знал, о чем она говорила с сыном. Вид у нее был усталый, как после тяжелой работы. Черный полушалок свалился на плечи, и один конец тащился по полу. Она подошла к Голубеву и сказала:

— Так операцию-то, доктор, делайте. Он согласился.

— Правда, Прасковья Петровна? Ну, вот и хорошо!

Прасковья Петровна прикрыла лицо широкой рукой, между пальцами просочилась слезинка и медленно покатилась в рукав.

23

Петр Ильич Бойцов решил обязательно присутствовать на операции Сухачева.

Было воскресенье — впускной день. С утра возле проходной госпиталя толпились посетители с узелками и сумками в руках. Бюро пропусков еще не работало.

По мощенному булыжником двору, несмотря на ранний час, прогуливалось несколько больных в черных госпитальных пальто, сапогах и суконных шапках.

Когда Бойцов вошел в главный корпус, где находилось пятое отделение, старичок швейцар встал со стула и почтительно раскланялся:

— На операцию изволили прийти, товарищ майор?

— Да, на операцию.

— Дай бог, как говорится, благополучия, — пожелал швейцар, как будто Бойцов был врач и от него зависел успех операции.

Гардеробщица, увидев Бойцова, засуетилась, побежала за халатом и долго не возвращалась.

— Извините, — сказала она, протягивая Бойцову халат. — Искала получше. Там ведь чистота нужна.

Бойцов догадался, что она подразумевала операционную. «Всем известно, — подумал он, — все стараются хоть чем-нибудь помочь».

На лестнице Бойцов столкнулся с Кленовым. Николай Николаевич строго посмотрел на него поверх очков, взял за руку и молча повел к себе в отделение.

Дежурная сестра, заметив старшего хирурга, вскочила из-за стола, торопливо поправила косынку.

— Операционную сестру ко мне, — распорядился Николай Николаевич, проходя в свой кабинет.

Он был чем-то чрезвычайно расстроен. Бойцов никогда не видел его таким мрачным.

Хирург сел в кресло, указал Бойцову место напротив себя и, очевидно, чтобы успокоиться, придвинул к себе доску с шахматами, ссыпал фигуры на стол и аккуратно начал укладывать их в ящичек.

Бойцов смотрел на его оголенные до локтя, чистые, сильные, большие руки, густо покры-

тые рыжими волосками, и думал: «В этих руках жизнь человека».

— Доведут больного черт знает до чего, а потом нате, оперируйте, — сердито проговорил Николай Николаевич, со стуком закладывая черного короля.

— Что? Очень плох? — спросил Бойцов, поняв причину мрачного настроения Николая Николаевича.

— Плох. Хм... — хмыкнул Николай Николаевич, захлопывая доску. — Без пульса.

— Неужели нельзя спасти?

Николай Николаевич закрыл доску на крючок, спрятал ее в стол:

— Попытаемся.

Вошла операционная сестра — вся белая, намытая, с аккуратно заправленными под косынку волосами.

— Приготовьте все для операции на сердце, — распорядился Николай Николаевич, направив на сестру толстый, круглый палец. — Разведите пенициллин. Запаситесь сердечными...

Говорил он коротко, четко. Мрачность его исчезла, глаза сделались острыми, рыжеватые с проседью брови зашевелились. Сейчас его ничто не интересовало, кроме предстоящей операции.

Бойцов осторожно поднялся и вышел из кабинета.

Обычно по воскресеньям в отделении было оживленно. Многие больные ожидали посе-

тителей, готовились к встрече — брились, мылись, чистились. Палаты принимали праздничный вид. По нескольку раз больные переставляли койки, ровняли их, по-особому — ромбиком — укладывали подушки. Ходячие собирались в коридоре. В будние дни находиться в коридоре запрещалось, а в воскресенье сестры будто не замечали этого маленького нарушения. В выходной день в клубе показывали кино, для лежачих включали радио. А в будние дни радио разрешалось включать только во время передачи последних известий: шум мешал работе врачей.

Приходили посетители. Они были в каждой палате. Вместе с гостинцами они приносили новости; рассказывали о знакомых, о товарищах. Гостинцами после ухода посетителей больные делились со всей палатой.

Вечером в красном уголке негромко играл баян, и выздоравливающие, мужчина с мужчиной, наступая друг другу на ноги, упорно танцевали. А иногда нет-нет да прорывались веселые плясовые переборы и какой-нибудь выписной, удалый парень, дробно стуча пятками, выделывал «Барыню».

Бодрый, жизнерадостный шумок стоял в отделении по воскресным дням.

На этот раз Бойцов не узнал отделения. Не слышно было шума, не видно больных в коридоре. Радио молчало.

Бойцов прошел в сто седьмую гвардейскую. К его удивлению, здесь уже собрались

все врачи отделения — Песков, Голубев, майор Дин-Мамедов, подполковник Гремидов. Они стояли полукольцом у койки больного, а сестра Ирина Петровна перекладывала подушки.

Сухачев страшно изменился за минувшие сутки. Его руки и лицо — особенно кончик носа и губы — были синие. Бойцова удивило, что Сухачев был в полном сознании — все понимал, всех узнавал. Он смотрел на собравшихся вокруг него врачей большими умными глазами, в которых не было прежнего лихорадочного блеска, но появилось выражение глубокой, осознанной боли, точно он хотел сказать: «Мне очень тяжело, и я знаю, что так должно быть, и вы тут ни при чем».

Это выражение испугало Бойцова. «Ну, браток, все», — подумал он и покосился на Голубева, стоявшего напротив него.

Голубев был хмурый и как будто чуточку бледнее, чем обычно.

Бойцов перевел взгляд на Пескова. Тот заметно волновался, покашливал.

— Переведите больного на хирургию, — приказал он Голубеву, не оборачиваясь, через плечо. — Гм... Случай перешел в хирургический.

— Слушаюсь.

Песков, ничего больше не сказав, повернулся и удалился из палаты шаркающей злой походкой.

Бойцов снова посмотрел на Голубева и уловил в нем какое-то сходство с Кленовым, отблеск той же сосредоточенности, собранности. Он не мог объяснить, в чем заключается это сходство, то ли в плотно сжатых, напряженных губах, то ли в слегка прищуренных задумчивых глазах, то ли в морщинке между бровей, но сходство определенно было.

— Павлуша, — сказал Голубев, подходя к изголовью. — Тебя придется на несколько дней перевести в хирургическое отделение. Ты потом вернешься в эту же палату, на эту же койку.

Сухачев не пошевелился, лишь поднял на Голубева глаза и ответил негромко и не сразу:

— Переводите... и поскорее... разрезайте...

И то, что больной, который вчера так отчаянно сопротивлялся операции, сегодня сам просит, чтобы его «резали», еще больше расстроило Бойцова. «Да, плохи дела».

Врачи ушли. Сухачева окружили товарищи. Они молчали, и он молчал.

Ирина Петровна привезла каталку.

— Помогите, пожалуйста, — попросила она Хохлова.

Три человека бросились ей на помощь. Сухачева легко подняли и бережно положили на каталку.

Он забеспокоился.

— Что с тобой, Павлуша? — спросила Ирина Петровна.

— Посадите... Мне тяжко... так...

Его посадили.

— Твои вещи, — сказал Кольцов, осмотрев тумбочку, и подал Сухачеву завернутые в носовой платок письма, записную книжку и бумажник.

— Сунь их... куда-нибудь, — выдохнул Сухачев.

Ирина Петровна укутала его одеялами и, поддерживая за спину, велела Хохлову везти каталку.

Сухачев слабо махнул рукой:

— Прощайте... друзья...

Бойцов притянул к себе старшину палаты, шепнул:

— А ну, веселей, не устраивайте панихиды.

— Нет, нет, не прощаемся, — зашумели вокруг. — До свиданья. Ждем тебя обратно.

За каталкой вышла в коридор вся сто седьмая гвардейская. И из других палат высыпали больные.

Каталка отдалялась, вот она исчезла за дверью. Еще минуту слышалось, как она тарахтела на площадке. Затем все смолкло.

24

В небольшой светлой, крашенной белой масляной краской комнате, называемой предоперационной, Бойцов снова увидел Кленова. Николай Николаевич стоял у крана и не спеша, тщательно мыл руки до самых локтей. Он

делал это с таким серьезным видом, как будто в мытье рук и состояла основная цель его жизни. Услышав шаги, он обернулся и, увидев Бойцова, приветливо пошевелил бровями:

— Решили посмотреть?

— Да, если разрешите.

— Прошу, дорогой товарищ, прошу.

Бойцов заметил, что настроение у хирурга изменилось. Николай Николаевич оживился, стал разговорчив, словно нарочно старался отвлечься, не думать о том серьезном и опасном деле, которое ему предстояло выполнять.

— Кстати, дорогой товарищ, это может быть примером к вашему выступлению на последнем партийном собрании, — проговорил Николай Николаевич, оттирая маленькой щеткой кончики толстых пальцев. — Вот вы сравнивали авиацию с медициной. Неправильно сравнили. В авиации, насколько я понимаю, конструктор с помощью многих людей создает новый самолет. Сперва это делается на бумаге, затем испытывается множество раз, выверяется, и только потом, после десятков испытаний, исправлений, уточнений, дается наконец заключение: машина годна в производство. — Он энергично смывал мыло, и клочья пены отлетали на пол. — В медицине, дорогой товарищ, испытывать не всегда есть время, тем более — исправлять. Привезли «острый живот» — вот и решай, что делать; причем самолет можно разобрать, заглянуть внутрь без опасений. А у нас черта

с два, не так-то это просто, — он подошел к белому эмалированному тазику, наполненному какой-то жидкостью, и снова принялся энергично намывать руки. — Самолет все переносит, не жалуется, и температура у него не поднимается. А конструктор — вот это другое дело. Бывает, конечно, что и мы «даем козла». Не знаем, что̀ у больного, и делаем так называемую пробную лапаротомию — вскрываем живот и смотрим.

Николай Николаевич придвинулся ко второму тазику, взял щеточку и начал тереть ею порозовевшие руки.

«Как ему не надоест? Как у него кожа терпит? — И вдруг Бойцов подумал, что эти руки будут оперировать Сухачева, прикасаться к его сердцу. — Тогда мойте их чище, не жалейте!»

— Всякое бывает, — продолжал Николай Николаевич дребезжащим, хрипловатым баритоном. — Иногда вскроешь живот и ничего не найдешь. А то найдешь такой рачище, что его и оперировать нельзя. Вздохнешь и зашьешь. — Не меняя интонации, он выпрямился, позвал: — Мария Игнатьевна!

Вошла операционная сестра. Бойцов в первый момент не узнал ее. Она была в длинном халате и поэтому казалась выше своего роста, на голове косынка, на лице до самой переносицы марлевая маска, на ногах белые чулки.

«Как запечатанная», — подумал Бойцов, поддаваясь чувству уважения ко всему, что делали хирурги.

Мария Игнатьевна подошла к столику в углу, открыла круглую коробку и большими блестящими щипцами, похожими на ножницы, подала Николаю Николаевичу марлевую салфетку. Николай Николаевич вытирал руки длинными, необычными, плавными движениями — от кистей к локтю. Сестра протянула ему стерильный халат. Николай Николаевич развернул его на весу, надел, но не завязал, а повернувшись спиной к сестре, поднял пояс так, чтобы концы висели, и подошедшая санитарка, не задевая его халата, подхватила эти концы и завязала сзади.

«Асептика и антисептика», — вспомнил Бойцов.

Николай Николаевич надел маску, поправил ее перед зеркалом.

— Одевайтесь, — официальным тоном сказал он Бойцову, давая понять, что разговор окончен, высоко поднял голову и, неся перед собой руки, неторопливо, широко шагая, вошел в раскрытую для него дверь операционной.

В большой и светлой операционной было много свободного места, воздуха и мало предметов: всего несколько столов и под ними эмалированные тазики.

Сухачев лежал на столе. Над ним склонились доктора. Они были все одинаковые — в белых халатах, шапочках и масках.

Приглядевшись, Бойцов стал узнавать врачей. Спиной к нему стояли майор Дин-Мамедов, подполковник Гремидов; за ними, вполоборота к Бойцову, — высокий, прямой, с белыми лохматыми бровями Песков; по другую сторону стола — Голубев, Николай Николаевич, второй хирург. А это кто? Бойцов увидел из-под халата широкие красные лампасы. Начальник госпиталя. И он здесь.

Сухачева стали укладывать, и он застонал:

— Так... тяжело... так... плохо...

— Поднимите выше подголовник, — распорядился Николай Николаевич. — Потерпите, потерпите. Это недолго.

Сухачева уложили, и Бойцов вновь увидел его глаза, как бы говорившие: «Я знаю, что так должно быть, но все-таки мне больно».

Сухачева укрыли белыми простынями, отгородив лицо и оставляя открытым лишь небольшой участок груди с синими карандашными отметками. Когда Сухачева укрывали, кто-то из врачей взялся за его ноги. Бойцов заметил, что после этого на ногах так и остались отпечатки пальцев — неглубокие ямочки.

— Понимаешь? Отеки. Сердечная недостаточность, — зашептал майор Дин-Мамедов.

Бойцов не ответил. Ему вспомнился тысяча девятьсот сорок второй год. Его привезли из-под Пулкова с тяжелым ранением в живот. Страшно хотелось пить. Во рту горело. Язык распух, стал тяжелым и непослушным. Прямо из машины Бойцова пронесли в перевязоч-

ную. Дальше память сохранила только одну картину: закутанные в белое люди накрывали его чем-то белым. Сейчас, наблюдая за происходящим в операционной, Бойцов представил себя на этом столе.

Так вот как это было!

Открытый участок груди Сухачева смазали йодом. Запахло лекарствами.

Все отступили в сторону, давая место хирургам. Голубев встал к изголовью, положил руку на лоб Сухачева.

Было слышно, как потрескивали зажимы, которыми второй хирург обкалывал простыни вокруг предполагаемого разреза.

Николай Николаевич, не оборачиваясь, поднял руку, и тотчас в ней оказался шприц. Он набрал из белого стаканчика новокаин, пустил вверх пробную струйку, предупредил больного:

— Уколю.

«Это, кажется, местная анестезия», — вспомнил Бойцов.

Было тихо. Слышалось тупое постукивание шприца о стаканчик.

— Скальпель.

Бойцов взглянул на врачей. Глаза всех были устремлены на кончик блестящего скальпеля.

Николай Николаевич уверенным легким движением сделал разрез.

Бойцов стоял позади врача и не видел крови, но заметил, как на белом чистом ха-

лате Николая Николаевича появились разной величины красные пятнышки.

Николай Николаевич отрывисто произнес что-то. Операционная сестра подала ему блестящие изогнутые ножницы.

Что-то захрустело. Сухачев застонал.

Бойцов приподнялся на носки и из-за головы майора Дин-Мамедова разглядел красное пятно между белыми простынями.

Второй хирург промакнул рану марлевыми тампонами, расширил ее металлическими крючками. Бойцов снова привстал на носки и увидел сердце.

Живое сердце Сухачева!

Бойцов подался вперед, наваливаясь грудью на плечо майора Дин-Мамедова.

Сердце не билось — оно слегка вздрагивало.

Николай Николаевич осторожным, скользящим движением подвел руку под сердце и, вероятно, хотел вытянуть его из груди.

Но сердце не далось — выскользнуло.

— Что вы делаете? — крикнул Сухачев.

По тому, как побледнел Голубев, Бойцов понял: случилось что-то страшное. «А я что говорил?» — можно было прочесть во взгляде Пескова. Но затем его глаза беспокойно забегали.

— Потерял сознание, — сказал Голубев глухим голосом, — дыхание остановилось.

— И пульса нет, — сказал майор Дин-Мамедов, тщетно стараясь отыскать пульс.

Бойцову показалось, что и сердце Сухачева на мгновение остановилось, перестало вздрагивать.

Николай Николаевич прикрыл рану марлевой салфеткой и еще не успел проговорить ни слова, как Голубев подскочил к блестящей коробке, схватил шприц, уже наполненный желтоватой жидкостью, надел иглу и сделал укол в руку больного.

Все замерли. Второй хирург хотел поправить простыню, задел скальпель, он упал и долго подпрыгивал, позванивая, на каменном полу.

Бойцов стиснул зубы, ему казалось, что звенит у него в голове.

Прошло несколько секунд. Сухачев порывисто вздохнул — простыня у него на груди колыхнулась.

Голубев взял подушку с кислородом, приложил черную маску ко рту больного. Раздалось легкое шипение. Сухачев вздохнул еще, еще раз.

Тогда Николай Николаевич снял с его сердца марлевую салфетку.

Сердце все так же вздрагивало.

Николай Николаевич поднес скальпель, помедлил.

«Ну!» — чуть было не выкрикнул Бойцов, невольно сжимая кулаки.

Он не уловил, что̀ произошло дальше.

Сухачев охнул, из сердца полилась густая, зеленоватая масса.

— Лоток. Так... Теперь пенициллин будем вводить, — сказал Николай Николаевич. — И вытрите меня, сестрица. — Он обернулся. Лоб и брови его были покрыты крупными каплями пота.

А сердце Сухачева лежало на большой руке Николая Николаевича и уже не вздрагивало, а билось. Билось с каждым ударом все сильнее, все энергичнее, все веселее!

25

Сухачева после операции привезли в маленькую уютную палату, где стояла всего одна койка. Он дышал жадно и глубоко, точно хотел надышаться за все прошедшие мучительные дни и ночи. Бледное лицо его потеряло синеватый оттенок. В глазах снова появился живой блеск, выражение боли исчезло.

Возле Сухачева установили индивидуальный пост. Ирина Петровна обратилась к начальнику госпиталя с просьбой разрешить ей продолжать ухаживать за больным и получила разрешение.

Сухачев обрадовался, увидев возле себя знакомое лицо:

— Вы здесь, сестричка? Это хорошо.

— Здесь, Павлуша. Как чувствуешь себя?

— Ничего. Теперь жить можно.

Он был еще очень слаб и говорил тихо, но охотно, как человек, стосковавшийся по разговору.

— Тебе удобно?

— Нормально.

Он полулежал в кровати, обложенный со всех сторон подушками.

— Нужно тебе чего?

— Нет. Отдохну — есть запрошу.

Дверь палаты осторожно приоткрылась, показалась рыжая голова.

— Хохлов, заходи,— обрадовался Сухачев.

— Нельзя, — строго сказала Ирина Петровна, морща высокий лоб и направляясь к двери.

— Привет от всех. Поправляйся! — успел крикнуть Хохлов.

...Бойцов после операции подскочил к Николаю Николаевичу, схватил его за руку, еще не мытую, запачканную кровью Сухачева, и восторженно пробасил:

— Сегодня я понял — бывают чудеса в медицине.

— Чудес не бывает, дорогой товарищ.

— Здорово у вас получилось. Здорово!

Николай Николаевич подошел к тазику с водой, начал «размываться».

Врачи, переговариваясь вполголоса, направились в пятое отделение.

Голубев не проронил ни слова. Он был задумчив и как будто не радовался удачно про-

шедшей операции. Он знал, что послеоперационный период у многих больных проходит тяжело; и чаще всего решает успех дела не сама операция, а послеоперационный период. Как он пройдет у Сухачева? Легко или трудно, с осложнениями или без осложнений? Никто, пожалуй, этого не предскажет. Случай редкий, в своем роде единственный. Одно знал Голубев: самое главное только начинается. Ему пришли на память чьи-то слова, слышанные давно, еще в институте: «Выходить больного, поставить его на ноги — большое искусство, требующее от врача терпения, умения, иногда всей жизни».

26

День прошел беспокойно. Отдохнуть в это воскресенье Голубеву так и не удалось. Несколько раз его вызывали к телефону. Звонил командир части, где служил Сухачев, звонил командир взвода, звонил профессор Пухов, звонили какие-то неизвестные Голубеву люди, — все интересовались здоровьем Сухачева. Голубев и не подозревал, что у солдата Сухачева столько товарищей.

После полудня в ординаторскую ввалилась взволнованная гардеробщица — тучная женщина с тройным подбородком.

— Что же это? Что же это? — выкрикивала она, пытаясь сдержать одышку.

— В чем дело?

— Пропуск на одного, а лезут пять.

Положение разъяснилось с приходом сержанта Быстрова. Оказалось, что он во главе своего отделения прибыл навестить Сухачева.

— Вы посидите здесь, — сказал Голубев,— остальные пусть внизу побудут, а я пойду на хирургию, посмотрю, как он там.

Сухачев обедал. Грудь его поверх одеяла была прикрыта большой салфеткой... Ирина Петровна держала тарелку с рисовой кашей, политой маслом. Он не спеша, смакуя каждую ложку, ел.

— Вот это замечательно, — одобрил Голубев, подойдя к кровати.

— Все съем, — сказал Сухачев после паузы и задорно кивнул головой.

«Да он совсем еще мальчишка, — подумал Голубев, впервые видя Сухачева таким оживленным и проникаясь теплым чувством к нему. — Ведь в том, что Сухачев сейчас с аппетитом ест, разговаривает, шевелит руками и моя заслуга, и мой труд. . .»

Труд врача! Как будто ничего сложного и героического. Поговорил, послушал, записал, вымыл руки, и. . . следующий. А между тем сколько тревожных, мучительных часов, дней, иногда недель у постели больного искупает одна вот такая минута морального удовлетворения!

Особенно бывает радостно, когда действовал ты не по общим, давно всем известным и

хорошо проверенным схемам, а по-своему, так, как ты считал нужным, как было необходимо. А коли ты так считал, ты и отвечаешь за свое лечение. Отвечаешь не только перед своими товарищами и родственниками больного, но прежде всего — перед человеком, которого лечишь, и перед собственной совестью. При неудачном исходе не суд страшен врачу — сознание собственного бессилия, невыполненного долга. А неудачи подстерегают его на каждом шагу.

У неудачи — верный, постоянный союзник: смерть. Врач всегда чувствует присутствие смерти. У больного неожиданно подскочила температура — это она; пошла кровь из носа, да так сильно, что не остановишь, — это она; больной ослаб, отказывается от еды — это она; больной мечется, хватается за грудь, задыхается — это она. Смерть не щадит и врача. Сколько людей в белых халатах погибло от холеры, тифа, дизентерии, погибло, защищая больного человека. На место погибшего становился новый врач, и борьба продолжалась. Она не затихает ни на одну минуту. В больницах и лазаретах, в клиниках и госпиталях, в лабораториях и научно-исследовательских институтах продолжается эта отважная, самая возвышенная борьба. И смерть потихоньку, нехотя, сантиметр за сантиметром отползает от койки больного. С каждым годом все больше и больше жизней вырывают врачи из ее костлявых лап. Петр Первый умер от

воспаления легких. Сейчас смерть от этого заболевания — редчайшее явление. Туберкулез косил людей десятками тысяч. Сейчас умирают от туберкулеза единицы. Миллионы человеческих жизней унесли тифы, холера, дизентерия. Теперь они не страшны.

Но врачу надо быть всегда начеку. Борьба продолжается.

Когда больной встал на ноги, когда ты убедился, что опасность миновала, вот тогда можно сказать: победа! Для этого стоит жить, не спать ночей, мучиться, рисковать собой.

Чувство непередаваемого восторга охватило Голубева, когда он смотрел на повеселевшего Сухачева, на его оживающее, покрытое золотым пушком лицо.

27

Прасковья Петровна остановилась на квартире у Голубевых. С вечера она долго не могла заснуть, лежала с открытыми глазами, стараясь не шевелиться, не будить хозяев. Перед нею стояло худое, с обострившимися скулами лицо сына, синие губы его вздрагивали и произносили: «ма-ма». Точно так же они вздрагивали, когда Павлик был маленький и его кто-нибудь обижал. Только губы тогда были яркие, алые...

Утром она проснулась и, узнав, что Леонид Васильевич уже уехал, тоже было засобиралась в госпиталь.

Наташа никуда ее не отпустила, усадила за стол.

Напившись чаю, Прасковья Петровна поставила блюдце, перевернула на него чашку и спросила:

— В госпиталь-то как проехать?

— На операцию вас все равно не пустят,— ответила Наташа. — А после операции муж придет и все расскажет. Потерпите, пожалуйста.

Медленно потянулось время. Прасковья Петровна сидела на диване, наблюдала, как Наташа убирает со стола. Тут же сидела Валя — шила платье кукле. Пальчики неуклюже держали иглу, нитка была длинная, и Валя тянула ее долго, далеко отводя руку.

— Дай-ка, Валюшенька, я тебе помогу,— сказала Прасковья Петровна.

— Нет, тетя, я сама.

— Да я покажу только.

Прасковья Петровна взяла из Валиных рук иглу, откусила нитку, сделала ее покороче и, натягивая тряпочку на палец, держа иглу острием к себе, стала ловко и быстро шить.

— Вот как, милая, надо. Вот как.

Она передала шитье девочке, погладила ее по голове, сдержанно вздохнула.

— Тетя, а для кукол швейные машины бывают? — спросила Валя.

— Кто его знает. Зачем тебе?

— У нас много маленьких кукол. Они еще в садик не ходят, такие замазули, — деловито объяснила Валя. — А грязное носить нехорошо. Ведь правда?

— Ясное дело, нехорошо.

— Ну, а руками разве на них успеешь. К тому же, я занята — в школу хожу, а Надя шить не умеет.

Прасковья Петровна, умилившись разумным рассуждениям девочки, притянула Валю к себе и поцеловала в щеку. Ободренная вниманием, Валя незамедлительно предложила поиграть.

— Вы — кабудто доктор, я — кабудто воспитатель. Я вам детей на осмотр приведу.

Прасковья Петровна согласилась. Через минуту на ее коленях лежала целая груда «машенек», «ниночек», «пупсиков». Валя брала куклу и объясняла:

— Ей сделали укольчик. Так, ничего себе, только покраснение.

— Что же делать-то? — спрашивала «доктор». — Завязать, што ли? Может, само пройдет?

— Прогреть надо, — поправляла Валя и обращалась к кукле с наставлением: — Ты меньше бегай. Носишься, как здоровая. У тебя покраснение.

Из кухни пришла Наташа, принесла горку вымытой посуды.

— Извините, — сказала она,— хозяева разбежались. Оставили вас одну.

— Ничего. Мы с Валей славно играем. Я вот доктором заделалась.

Наташа поняла эти слова так: «Разве вы не видите, что мне не по себе? Надо чем-то заняться».

Встала Наденька, позавтракала. Девочки стали проситься на улицу. Наташа не отпускала одних.

— Пойдемте, милые, — предложила Прасковья Петровна, набрасывая на голову полушалок.

— Что вы, Прасковья Петровна?

— Ничего. Свежим воздухом и мне подышать нужно.

«Как она волнуется. Чем бы ей помочь?»

— Пожалуй, и я с вами, — сказала Наташа, снимая фартук.

Стоял серый, унылый день. Неожиданно наступила оттепель, снег почернел, превратился в грязь. Низкие рваные облака проносились над городом. Из трубы соседнего заводика валил густой дым, выстилаясь почти горизонтально длинным черным хвостом. В конце хвоста дым рассеивался, и нельзя было отличить, где дым, где тучи. Во дворе, окруженном со всех сторон высокими каменными стенами домов, было безветренно,

сравнительно тепло. По всему двору сверкали лужи. Детвора заполняла садик, засаженный молодыми, еще не окрепшими голыми деревцами.

Девочки тотчас присоединились к группе играющих. Прасковья Петровна и Наташа сели на скамейку. Первое время они молча наблюдали за детьми, занятыми тем, что гоняли большую белую щепку-кораблик по широкой луже. Одна из девочек, постарше, подталкивала «кораблик» палкой, а другие с шумом и криком следовали за ней. Наденька визжала и кричала громче всех:

— Погудеть надо! Погудеть надо!

— Мой тоже страсть какой был горластый, — произнесла Прасковья Петровна как будто про себя. — Крепким рос, здоровеньким. Здоровеньким, — повторила она, разглядывая свои натруженные, обветренные руки. — Почти что до снега босиком бегал. Не то что надеть нечего было — не хотел. Купаться с майского праздника начинал. К воде его штой-то манило. — Она подтянула концы полушалка, сказала глуше и медленнее: — Вот от воды этой и получилось. Слыхали, как он захворал-то? Товарищ будто тонуть стал, он и кинулся на выручку. Товарища-то спас, ну а сам — вот...

— Поправится, Прасковья Петровна. Сделают операцию, и поправится.

Прасковья Петровна молчала, продолжая разглядывать свои руки, точно раньше ей

было некогда и только сейчас, на досуге, она решила рассмотреть их как следует.

— Вы посидите, а я пойду позвоню в госпиталь, — сказала Наташа.

— Идите, милая, идите.

Наташа быстро вернулась и сообщила Прасковье Петровне, что операция только что началась.

— Да вы не волнуйтесь, — успокаивала она. — Ему введут пенициллин, а это очень сильное, очень хорошее лекарство.

— Может, и так, только шибко плох он, голубушка.

— Прошла бы операция хорошо, а там, я почему-то уверена, он поправится.

— Спасибо на добром слове, милая.

— Я ведь тоже врач, Прасковья Петровна.

Прасковья Петровна посмотрела на нее внимательно:

— Работаете где или дома пользуете?

— Пока не работаю. Наденька долго болела, пришлось оставить работу... И мама уехала...

— Поди, тягостно без работы-то?

— Скучно, Прасковья Петровна.

Наденька завизжала пронзительно. Прасковья Петровна и Наташа оборвали разговор, насторожились. Оказалось, «кораблик» посредине лужи наткнулся на камень и закрутился на одном месте.

— Куда? Куда? Не смей в воду! — крикнула Наташа, но было уже поздно.

Наденька без колебания влезла в лужу, схватила обеими ручонками «кораблик» и выскочила на «берег».

Наташа сорвалась с места, побежала к ней, приговаривая:

— Полные галоши воды набрала, варежки намочила!

— Я кораблик спасла! Мамочка, я кораблик спасла!

Лицо у Наденьки сияло радостью. Все девочки смотрели на нее с уважением.

Ругать «героиню» было неприлично. Наташа взяла ее за руку и повела домой. Прасковья Петровна пошла следом.

Пока Наташа переодевала Наденьку, Прасковья Петровна смотрела в окно, думала.

Внизу на проспекте кипела разнообразная жизнь. Из булочной с сумками выходили женщины. В подворотне пристроился точильщик. Он крутил колесо, и снопики красных искр взлетали вверх. Вот семья отправилась на прогулку: впереди малыш с белым зайцем в руках, позади — папа с мамой. Две соседки встали среди дороги, — должно быть, судачат о ком-то. Одна все рукой размахивает. Из парикмахерской вышел военный, постоял на ступеньках, подкрутил усы и бравой походкой пошел направо — верно, к знакомой. Мальчишки путаются среди прохожих. Милиционер, важно поглядывая по сторонам,

шествует между трамвайными рельсами. Каждую минуту проносятся машины, грузовые и легковые, черные и красные, серые с молочным отливом и какие-то пестрые, непонятного цвета. А вот настоящий дом на колесах — две двери, окошек-то сколько! Это, должно быть, новый автобус. Летом Анютка журнал приносила, там точно такой же был нарисован.

Вспомнив про дочь, Прасковья Петровна тотчас представила, как Прохор — сельский почтальон — принес «молнию», как они вместе с Анюткой поплакали, как собрался народ — соседи, колхозники, — начали утешать, помогать собираться в дальнюю дорогу. А потом пришел председатель Игнат Петрович, помялся, погладил бороду и сообщил, что правление решило пособить ей: «Денег выделило тыщу рублей и машину дает до города...»

— Наталья Николаевна, сколько времечка-то?

— Пятнадцать минут первого.

— О господи, как время-то тихо идет!

Валя опять предложила поиграть:

— Вы кабудто директор, мы — учителя, а куклы — ученики.

— Давайте, милые, поиграем.

Вот так же Павлик, маленьким, когда Анютка отказывалась играть, упрашивал мать, и Прасковья Петровна соглашалась: усаживалась на лавку, повторяла все те слова, какие заставлял говорить «учитель», вставала

и вместе с ним пела песни. Особенно Павлик любил эту, про летчиков: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...»

— Пойдем к директору, — кричала Валя на куклу. — Ты почему каждое утро опаздываешь?

— Ай, как неладно,— говорила Прасковья Петровна, пряча куклу в широкой ладони. — Что же ты дисциплину нарушаешь?

— А-а-а, — хныкала Валя, — она кабудто плачет.

Павлик плакал редко: если больно ушибался или не получалось чего, от злости плакал, и — когда извещение с фронта пришло, отец погиб. «Ах, Данило, Данило! Как мне тяжко сейчас одной. Как тебя не хватает — горю пособить!»

Прасковья Петровна вспомнила о рождении сына. Данило привез акушерку, а сам пошел в кузницу коней ковать. Стоял март — самая гололедица. Она, Прасковья, каталась по полу, по кошме, покрытой цветастым одеялом, а из кузницы доносилось: бум-дзинь, бум-дзинь, бум-дзинь — удары молота по наковальне. Когда родился Павлик, соседка побежала в кузницу. Бум-м! — раздался последний удар и оборвался. В горницу ввалился Данило, пропахший дымом, в холщовом фартуке. «Ну, спасибо тебе, Параша, за сына спасибо», — сказал он, наклоняясь и целуя ее в распухшие губы...

— Тетя, ну тетя же! — обидчиво кричала Наденька. — Вы же совсем не слушаете...

— Простите, милые, задумалась... Наталья Николаевна, сколько времечка-то?

— Ровно два, Прасковья Петровна. Я пойду позвоню. — Она возвратилась быстро, с радостным лицом: — Операцию закончили. Все благополучно.

— Ну, а он-то как, что? — проговорила Прасковья Петровна, поднимаясь и устремляясь навстречу Наташе.

— Подробностей не знаю. Сейчас муж приедет и все расскажет...

Голубев не приехал и в три, и в четыре, и в пять. Пообедали без него.

— Наталья Николаевна, милая, может, все ж таки съездим?

— Мне совсем не трудно, но я боюсь, что мы разъедемся с Леонидом Васильевичем, а одних нас не пустят.

Волнение Прасковьи Петровны передалось всей семье. Телевизор в этот вечер не включали. Девочки не шумели, сидели за столом и рисовали. Наденька склоняла голову чуть не до самой бумаги, так старалась. Цветы у нее получались больше детей, головы у детишек — красные, цветы — черные.

В десять часов девочек уложили спать. В комнате наступила тишина. За окнами гудели машины, слышались отдаленные голоса пешеходов.

— Что же он не едет до этакой поры? Неладно что-то, Наталья Николаевна, голубиночка вы моя...

Наташа попросила соседей последить за девочками и вместе с Прасковьей Петровной в полночь отправилась в госпиталь.

28

Вечером, возвращаясь из столовой, Голубев столкнулся в дверях ординаторской с Ириной Петровной. Она еще ничего не сказала, но по ее взволнованному взгляду он понял: случилось неладное.

— Что? — спросил Голубев, беря Ирину Петровну за руку.

— Температура тридцать девять.

Он, обгоняя сестру, спустился на второй этаж и вошел в светлое, просторное хирургическое отделение.

Опять, как тогда в приемном покое при поступлении, у Сухачева лихорадочно блестели глаза, лицо раскраснелось. Он лежал спокойно, держа руки поверх одеяла на груди, ладонями книзу и устремив взгляд прямо перед собой. Когда пришел врач, он не повернул головы, лишь скосил глаза.

Голубев взял табурет, сел рядом с кроватью и, слегка наклонясь вперед, спросил:

— Как себя чувствуешь, Павлуша?

— Жарко, — сказал Сухачев, облизывая губы. — Попить бы.

— Много пить нельзя. На сердце лишняя нагрузка. Понимаешь?

Сухачев еле заметно кивнул головой. Ирина Петровна подала кружку с водой. Он отпил два глотка — отвел руку сестры.

Голубев заметил, что при дыхании у него снова раздувались ноздри. «Неужели повторяется все сначала? — подумал Голубев. — Сейчас больной ослабел. Ему гораздо труднее будет перенести болезнь».

Он взял горячую руку Сухачева и начал считать пульс. Насчитал сто ударов в минуту, однако пульс был удовлетворительного наполнения и напряжения. Сердце Сухачева работало лучше. Голубев начал осмотр. Грудь больного была забинтована, слушать можно было только там, где не было бинтов. Между лопатками он уловил легкое потрескивание, напоминающее звук при бритье, — так называемые крепитирующие хрипы.

«Так оно и есть — пневмония. Она была и еще не успела разрешиться. Перикардит заслонил ее. А сейчас она как бы выползла вновь. Выдержит ли сердце — больное, оперированное сердце?»

— Ничего, это ничего, — сказал Голубев как можно спокойнее, одергивая рубашку на Сухачеве и укрывая его одеялом. — Ирина Петровна, начнем пенициллин, сразу по сто тысяч единиц.

— Хорошо, доктор.

Она посмотрела на Голубева так, точно собиралась сказать: «Я вас понимаю, Леонид Васильевич. Положение нелегкое».

Сухачев поверил словам врача. За эти дни он убедился, что гвардии майору можно верить. В короткие минуты просветления он наблюдал, с каким уважением относились к врачу больные, слышал от Хохлова: «Наш врач толковый», мама говорила: «Нешто какого-нибудь в такой госпиталь поставят». А главное — убедился на себе. Как бы тяжело ни было, доктор всегда делал так, что ему становилось легче. И теперь он что-нибудь придумает.

В палате неслышно появились Кленов и Песков. Николай Николаевич поклонился Голубеву. Песков, словно не заметив его, прошел прямо к больному. Встав перед койкой на колени, он не задал ни одного вопроса и молча принялся выслушивать Сухачева.

В палате было тихо. Слышалось покашливание Пескова да клокотание воды в стерилизаторе, где кипятился шприц.

По этому напряженному молчанию Голубев почувствовал, что и Кленова, и Пескова тревожит сейчас, очевидно, тот же вопрос: выдержит ли оперированное сердце?

Песков выслушивал больного медленно, долго, затем покряхтывая, поднялся, и все трое, не проронив ни звука, вышли из палаты.

Не разговаривая, они прошли длинный коридор — впереди Кленов, за ним Голубев, позади Песков.

В кабинете хирурга они сели поодаль друг от друга и еще некоторое время молчали. Голубев ждал, что скажут старшие. Но, так и не дождавшись, заговорил первым:

— Я думаю, вновь вспыхнула пневмония, — он обращался к Николаю Николаевичу. — Собственно, она и была, но до конца не разрешилась. Возможно, что появились новые очаги. Я полагаю начать внутримышечное введение пенициллина...

— И сердечные, — вставил Песков, обращаясь также к Кленову.

Николай Николаевич слушал, почесывая роговой дужкой очков за ухом, морщился.

— А сердце, дорогие товарищи, сердце справится? — спросил он раздраженно.

— Гм... трудно сказать, — буркнул Песков. — Этого я и боялся больше всего.

— Не будем терять времени, — сказал Голубев.

Все как будто обрадовались этому предложению, встали и так же молча друг за другом направились в палату.

Ирина Петровна уже ввела пенициллин. Сухачев до самых плеч с помощью санитарки укрылся одеялом.

— Введите еще кубик камфоры и кубик кофеина, — распорядился Голубев.

— Камфоры два кубика, — добавил Песков. — Пускай ему станет хоть на время легче.

Врачам больше нечего было делать возле больного. Оставалось одно — ждать.

Когда Песков ушел, Кленов взял Голубева под руку:

— Вы имеете возможность отыграться, дорогой товарищ.

Пока Николай Николаевич доставал шахматы, Голубев сидел, подперев голову.

«Быть может, увеличить дозу пенициллина? — думал он. — Или комбинировать пенициллин с сульфазолом? По последним работам, такое лечение проходит успешно. Почему Песков об этом не сказал? Он-то, конечно, знает».

Николай Николаевич взял две пешки — белую и черную, спрятал их за спиной, а потом, зажав по одной в кулаке и вытянув перед собой руки, спросил:

— Какая ваша?

Голубев, не глядя, ткнул пальцем в воздух.

— Не понял.

— Правая.

— Ваши опять черные.

Николай Николаевич не спеша расставил шахматы, подождал Голубева, сделал первый ход и спросил:

— Не ввести ли нам еще пенициллин внутрь перикарда? Это сделать можно. Я там оставил резиновую трубочку.

— Не знаю, Николай Николаевич. Я никогда не лечил гнойные перикардиты.

Несколько минут они играли молча. Слышалось постукивание фигур о доску.

Николай Николаевич на этот раз был неузнаваем: играл без азарта, брал фигуру, подолгу держал ее над доской, делал первый попавшийся ход и не торопил партнера: снял коня, прижал его к щеке и сидел в такой позе, о чем-то размышляя.

— Н-да, — встряхнулся он. — Чей сейчас ход?

— По-моему, ваш.

Николай Николаевич поставил коня не на ту клетку, на которой он стоял раньше, и негромко проговорил:

— Знаете, дорогой товарищ, за мои сорок лет работы хирургом у меня... по моей вине умерло всего три человека... Вы ходили?

— Да, слоном.

Вместо ответного хода Николай Николаевич начал поправлять фигуры и продолжал с необычайной для него грустью в голосе:

— Первой была молодая женщина. Ее доставили на «скорой помощи» ночью. Я был тогда еще молодой, носил усики, такие гусарские. Увидела она мои усики и отказалась от операции. Вероятно, вид мой не внушал доверия. Ну, а я не настоял, не убедил ее. Под утро больной стало так плохо, что она согласилась на операцию. Но было уже поздно. Начался перитонит. А привезли ее с частич-

ной непроходимостью... К концу моего дежурства она умерла. Я и сейчас вижу ее черные волосы, распущенные по белой подушке.

Николай Николаевич снял с доски фигуру и стиснул ее в руке.

— Второй случай был во время войны с Финляндией, — продолжал он. — Привезли ко мне раненого прямо с передовой. Не понравилась мне его рана. Надо было ампутировать ногу выше колена. Правую ногу, как сейчас помню. Парень был молодой, курносый, и родинка на щеке. Принялся он упрашивать меня. Смотрит прямо в глаза и просит не отнимать ногу. У меня к ампутации вообще сердце не лежит: брат у меня родной в шестнадцатом году на костылях вернулся... Пожалел я солдата, смалодушничал. На следующий день все равно пришлось высокую ампутацию делать. Да только она не спасла парня.

«Вот она, доля врача, — думал Голубев. — Вот он, суд».

Николай Николаевич сидел не шевелясь, глядя в дальний угол кабинета.

«Разволновался старик. Какой он, однако, славный человек. А мне казалось. что он привык к страданиям больных и относится к своему ремеслу так же спокойно, как каменщик или бондарь к своему».

— Вам ходить, товарищ полковник, — сказал Голубев, отвлекаясь от своих мыслей.

Николай Николаевич быстро поставил фигуру, которую давно держал в руке, на доску

и, будто стыдясь своей минутной слабости, проговорил другим, бодрым голосом:

— Ничья, дорогой товарищ?

— Согласен.

Николай Николаевич отодвинул шахматы, откинулся на спинку деревянного кресла:

— Как-то не идет сегодня. Устал. Времени-то двадцать три ноль-ноль.

— Уезжайте отдыхать, товарищ полковник, — сказал Голубев, поднимаясь со стула. — Спокойной ночи.

— Нет, это вы поезжайте, дорогой товарищ. Вам спокойной ночи.

— Вам нужно отдохнуть, честное слово.

Николай Николаевич строго взглянул на Голубева из-под очков:

— Я знаю, что̀ мне нужно.

Голубев не стал спорить и вышел из кабинета.

В палате Сухачева горела синяя лампочка. Еще из коридора через окно Голубев увидел две белые фигуры — сестры и санитарки. Они склонились над койкой — наверное, перекладывали больного поудобнее. Лицо Сухачева казалось зеленоватым и сильно похудевшим — скулы выдавались, щеки провалились.

— ...надо дышать, — услышал Голубев окончание фразы.

— Что такое? — спросил он, подходя к кровати.

— Кислород даю, — пояснила Ирина Петровна, — он отказывается.

Голубев положил руку на лоб Сухачева. Лоб был горячий и потный. Температура не снижалась.

— Разве спать не хочешь, Павлуша?

Сухачев поднял на него большие блестящие, с синеватыми белками глаза.

— Не могу.

— Укол тебе делали?

— Этого добра хватает.

Он закашлялся, свел брови и приглушенно застонал.

— Больно?

— Так бы все оттуда и вывернул.

Он приложил ладонь к груди, судорожно свел пальцы.

В коридоре послышались твердые шаги, и в палату вошел Кленов.

— Не спим, дорогой товарищ?

Сухачев не ответил, вновь закашлялся, прижимая руки к груди.

В дверях показался Песков.

«Полный кворум, — подумал Голубев. — А больному не легче. Стоим возле него, как свидетели».

— Выйдем, посовещаемся, — предложил Голубев.

Вышли в коридор.

— Ему необходим отдых, сон. Но этому сильно мешает болезненный кашель, — сказал Голубев.

— Решайте, — строго и отрывисто произнес Николай Николаевич и покосился на Пескова.

— Я назначу, — буркнул Песков, устремляясь в свой кабинет.

Голубев велел санитарке постелить себе в ординаторской на диване. Он погасил свет и лег не раздеваясь, только расстегнул китель и снял ботинки. В отделении все спали, не слышно было ни одного звука.

Неожиданно в кабинете начальника зажегся свет. Узенький луч скользнул по потолку и остался на нем светлой полоской. Послышались шаркающие шаги.

«Тоже беспокоится. Взяло наконец за живое. Дошло до сердца».

Песков прохаживался по кабинету, ворча под нос. «Вот к чему приводит так называемое новаторство,— думал он. — Что доставили они больному, кроме лишних страданий? Надо сделать все возможное, чтобы он меньше мучился. И вообще надо что-то делать. Да-с. . .»

Где-то на первом этаже хлопнула дверь. Верно, больного пронесли в отделение или кому-нибудь стало плохо — дежурный врач спешит на помощь.

«Уж не к Сухачеву ли?»

Голубев встал и направился в хирургическое. Санитарка, подоткнув халат, мыла лестницу и проводила врача удивленным взглядом. В хирургическом сестра сидела у своего

столика, накинув на плечи синий байковый халат, и штопала чулок, натянув его на электрическую лампочку.

— Прохладно,— полушепотом сказала она, приподнимаясь при входе доктора и сбрасывая халат.

Голубев остановился перед палатой Сухачева. Оттуда доносились странные звуки. Он подошел поближе к чуть приоткрытой двери. Кто-то нараспев, мягким, приятным голосом читал стихи:

Четвертый год, как я люблю
Меньшую дочь соседскую.
Пойдешь за ней по улице,
Затеешь речь сторонкою...
Так нет, куда! Сидит, молчит...
Пошлешь к отцу посвататься,
Седой старик спесивится:
Нельзя никак — жди череда...

Голубев вошел в палату. Возле больного сидела Василиса Ивановна.

— Сестра-то за кислородом ушедши,— сказала она, как бы оправдываясь, и встала, уступая Голубеву свое место.

— Сидите, пожалуйста. — Он придвинул свободный табурет, сел. — Не спится, Павлуша?

Сухачев мотнул головой, морщась от боли.

— Тогда и я послушаю. Можно? Продолжайте, Василиса Ивановна.

Василиса Ивановна, смущаясь присутствием доктора, продолжала не так уверенно:

Возьму ж я ржи две четверти,
Поеду ж я на мельницу,
Про мельника слух носится,
Что мастер он присушивать.
Скажу ему: «Иван Кузьмич,
К тебе нужда есть кровная:
Возьми с меня, что хочешь ты,
Лишь сделай все по-моему».

Сухачев закашлялся, в груди у него глухо заклокотало, брови дрогнули. С большим трудом он сдержал кашель, шумно, через нос, вздохнул, попросил:

— Говорите, Василиса Ивановна. Говорите.

— Говорю, сынок, говорю.

«А ведь ее «лекарство», пожалуй, действует лучше, чем все наши», — подумал Голубев, с уважением оглядывая Василису Ивановну.

Маленькая, круглая, с крупными, грубоватыми чертами лица, ничем не примечательная женщина, а вот поди ж ты — какая душа!

В селе весной, при месяце, —

неторопливо, размеренно выговаривала Василиса Ивановна, —

Спокойно спит крещеный мир.
Вдоль улицы наш молодец
Идут сам-друг с соседкою,
Промеж себя ведут они
О чем-то речь хорошую.
Дает он ей с руки кольцо,
У ней берет себе в обмен.

А не был он на мельнице,
Иван Кузьмич не грешен тут.

Ах, степь ты, степь зеленая,
Вы, пташечки певучие,
Разнежили вы девицу,
«Отбили хлеб» у мельника.
У вас весной присуха есть
Сильней присух нашептанных.

Василиса Ивановна замолчала, обтерла губы рукой.

— Где это вы так научились? — спросил Голубев. — Я и не знал, что вы такая мастерица рассказывать.

— С малолетства еще, — ответила Василиса Ивановна застенчиво. — Одна у нас в избе книжка была — стихотворения Кольцова. Вот мы и выучили ее, как «Отче наш».

— Расскажите еще, — попросил Сухачев.

— Расскажу, сынок, расскажу. Про «Урожай» хочешь?

Она чуть склонила голову набок и однотонно, но с необыкновенной задушевностью и мягкостью стала рассказывать:

Красным полымем
Заря вспыхнула,
По лицу земли
Туман стелется.

Загорелся день
Огнем солнечным,
Подобрал туман
Выше темя гор...

Скрипнула дверь. В палате появился Песков — белый, высокий, с опущенными плечами.

Сухачев, увидев его, вздрогнул. Василиса Ивановна оборвала чтение, вскочила. Голубев недовольно оглянулся: «Что ему не спится? Что он ходит следом за мной?».

— Кашляешь? Спать не можешь? Ничего, Павел. Все пройдет, — сказал Песков новым, убеждающим тоном. — Да-с, пройдет. Поправишься. Это я тебе говорю... гм... белый старик. Слышишь?

— Слышу, — прошептал Сухачев.

Голубев смотрел на Пескова с удивлением. Что с ним произошло? И голос не тот, и выражение лица совсем другое.

— Следите за пульсом, — сказал Песков, не оборачиваясь. — И в случае чего дайте мне знать, — добавил он и, похлопав Сухачева по плечу, вышел из палаты так же неожиданно, как и появился.

Послышались шаги и голос сестры:

— Доктор, вас вниз вызывают.

Еще с лестницы Голубев увидел Прасковью Петровну. Она натягивала концы полушалка, словно хотела завязать его потуже, и, заметив доктора, застыла в напряженной позе.

— Успокойтесь! — крикнул Голубев издали. — Операция прошла благополучно.

Руки Прасковьи Петровны зашевелились, затеребили концы платка.

— Все благополучно, — повторил он.— Хирург у нас замечательный.

Голубев приветливо-ласково улыбнулся Наташе, давая понять, что ему нужно прежде всего поговорить с Прасковьей Петровной.

Наташа стояла поодаль, прижимая сумочку и сверток к груди. По усталому виду мужа она догадалась, что дело обстоит совсем не так блестяще, как он рассказывает Прасковье Петровне.

— . . .Сейчас Павлуша спит. И вы поезжайте спать, — говорил Голубев.

— А поглядеть-то на него можно, хоть в окошечко?

— Утром, Прасковья Петровна. Сейчас не нужно. — Голубев почувствовал, как она насторожилась, и поспешил успокоить: — Все обошлось неплохо. Но он в другом отделении, в хирургическом. А я там не хозяин.

— Конечно, неудобно, — вмешалась Наташа. — А утречком мы приедем.

Она взяла руку Голубева и тихонько пожала. И Голубев понял ее пожатие: «Я догадываюсь, что не все хорошо. Но будет лучше, только не отчаивайся».

— Я тебе кушать принесла, — сказала Наташа, подавая ему сверток.

— Я сыт.

— Утром съешь. Это пирожки твои любимые, с капустой.

Голубев хотел поблагодарить, но постеснялся Прасковьи Петровны и только попросил:

— Поезжайте. Поздно. Да и дети одни, как бы не напугались.

Он вызвал санитарную машину и на ней отправил Наташу и Прасковью Петровну домой. От проходной донесся протяжный, тревожный гудок, и стало тихо.

29

Сухачев таял на глазах. Температура не снижалась. Пенициллин не помогал.

По инициативе Пескова у койки больного был срочно собран консилиум. Он подтвердил то, что было ясно еще вчера: у больного «расцвела» двусторонняя пневмония, сердце не выдерживает, вновь появились отеки на ногах — признак недостаточности кровообращения.

Песков, обросший, осунувшийся, но необычно энергичный, окинув врачей оживленным взглядом, заключил:

— Итак, совершенно очевидно, что при создавшейся ситуации все наше внимание должно быть обращено на сердечно-сосудистую систему. Да-с. Больного следует камфарить через каждые три часа. Очень хорошо, что появилась мокрота. Если выдержит сердце — пневмония разрешится. Для того чтобы уско-

рить этот процесс, я рекомендовал бы увеличить дозу пенициллина.

— Действуйте, дорогой товарищ, — одобрил Кленов. — Вам и карты в руки.

Голубев заметил, что Николай Николаевич с таким же, как и он, удовлетворением относится к неожиданной перемене в Пескове. И на подполковника Гремидова, и на майора Дин-Мамедова, вероятно, повлияли не столько предложения, внесенные Песковым — в них, в сущности, не было ничего необыкновенного, — сколько его непривычно деятельный вид.

У входа в отделение с врачами встретился начальник госпиталя.

— Как дела? — спросил он, отвечая общим коротким поклоном на приветствия.

— Сейчас консилиум собирали, товарищ генерал, — ответил за всех майор Дин-Мамедов.

— И что же?

— Наметили целый ряд мер.

— А больному-то легче?

— Больному пока плохо, товарищ генерал.

Генерал размашистым, стремительным шагом направился прямо в палату Сухачева. Врачи, как полагается, последовали за ним.

Генерал посчитал пульс больного и, ободряюще пожав его руку, стремительно вышел из палаты.

— Необходимо вызвать профессоров, — произнес он, отыскав глазами Голубева. — Нам с этим случаем, пожалуй, не справиться.

Так и нужно доложить: трудно — помогите. Или... или будет поздно. Об этом я уже говорил вчера вашему начальнику, но, вероятно... Впрочем, я сам...

Действительно, часа через два приехал громоздкий толстый человек с добрым лицом и серыми молодыми глазами, в которых вспыхивали задорные искорки, точно он про себя говорил: «Не знаю, как вы, а я считаю, что жизнь очень неплохо придумана. Прошу и вас так считать». Это был известный академик Розов. Он сразу понравился Голубеву. С ним пришли начальник госпиталя и профессор Глебкин, в пенсне на черном шнурочке, с гладким яйцевидным лысым черепом. Профессор приблизился к Голубеву мягкими, крадущимися шагами и, натянув на лицо привычную приветливую улыбку, поздоровался. Голубев ответил сухо. Он знал Глебкина еще по академии и не любил его.

Опять Сухачева стали слушать, выстукивать, щупать, заставляли поворачиваться то на один, то на другой бок, то садиться, то ложиться, то вновь садиться. С помощью Василисы Ивановны он выполнял все с редким терпением, безропотно и покорно, только иногда останавливался, чтобы сдержать кашель. Было видно, что он ничего не ждет от врачей, ничего не просит, точнее — просит об одном: чтобы его оставили в покое. Сухачев с мольбой смотрел на Голубева, зная и веря, что его доктор может посочувствовать и помочь ему.

Но Голубев не замечал его взгляда. Он прислушивался к тому, что говорил толстый старик. Сухачев тоже прислушался. Из всего сказанного непонятными медицинскими словами он уловил и понял лишь одно: надо, чтобы что-то разрешилось. И если это что-то разрешится, то ему станет легче, а если нет, то будет еще хуже. И он принялся молить про себя, чтобы это что-то разрешилось.

Толстый старик встретился с ним взглядом и тотчас зажег в своих глазах задорные искорки, как бы приглашая: «Давай приободрись. А ну, вместе». Сухачев попробовал улыбнуться, но в груди кольнуло, и он протяжно, сдержанно застонал.

Академик Розов окончил осмотр. Его место занял профессор Глебкин. Приветливо улыбаясь, он потер холеные белые руки:

— Будьте любезны лечь пониже. Еще, пожалуйста. Очень прошу, еще.

Его приторно-сладкое обращение еще более углубило чувство антипатии, которое он вызывал у Голубева. А когда Глебкин, нарочито оттопырив мизинец, принялся постукивать по груди Сухачева не как все врачи, а одним указательным пальцем, Голубев саркастически подумал: «Актер».

Давно уже прошло время, когда Голубев воспринимал каждое слово и движение всякого профессора как нечто выдающееся, необыкновенное, данное немногим избранным. Давно уже прошли те дни, когда Голубев счи-

тал всякого профессора почти магом, а его трубку — волшебной палочкой. С той поры, как он сам стал врачом и приобрел опыт работы с больными, он начал убеждаться в том, что не все профессора — профессора: есть Розовы и Пуховы, но есть и Глебкины. И Глебкины подчас знают меньше простого опытного врача, но умеют ловко играть свою роль. Именно играть, как актеры.

— Будьте добры, скажите: раз-два, — произнес профессор Глебкин вполне серьезно и таким тоном, как будто от этого «раз-два» все зависело, и приложил к груди больного свою руку с аккуратно подстриженными блестящими ногтями.

«В чем же состоит успех его игры? Чем он действует на больного? — размышлял Голубев. — Прежде всего, он умеет «подать» себя. У него отдельный, прекрасно оборудованный кабинет — мягкие кресла под безукоризненно белыми чехлами, какой-нибудь блестящий прибор или аппарат на первом плане. Главное — больше блеску, это режет глаз — впечатляюще действует на больного. Такой профессор непременно произносит страшно ученые слова, и подле него обязательно вьется какой-нибудь молодой коллега, желающий покрасоваться в лучах чужой славы. Вроде нашего Брудакова. И оттого, что рядом с профессором стоит кто-то и внимательнейшим образом слушает его, и удивляется, и восхищается им, — больному и самому начинает казаться, что этот профес-

сор — выдающаяся личность в медицине и ему, больному, не может не быть легче. Просто неудобно, если ему не будет легче».

Словно в подтверждение этих мыслей профессор Глебкин повернул к Голубеву сосредоточенное лицо и многозначительно изрек:

— Симптомы... — он произнес латинские слова, — положительные.

Голубев сделал вид, что не расслышал. «Вот так и рождается слава. А чем он, собственно, берет? Он назначает сложнейшие обследования, каких никогда не назначит из-за их ненужности простой врач, он выписывает длинные рецепты на специальных бланках со штампом: профессор такой-то или клиника такая-то. И больной убежден, что от этого длинного, замысловатого рецепта, написанного на особом бланке со штампом, ему обязательно станет лучше. Самое же главное, что создает славу такому Глебкину, — осмотр. Осматривая больного, такой профессор пользуется пристрастием некоторых больных «подробно осматриваться», и делает это с таким серьезным, убеждающим, самоуверенным видом, в который нельзя не поверить. Просто ни у кого язык не повернется сказать, что этот пожилой, солидный, именитый человек — всего-навсего ловкий актер. Он и смотрит вас не так, как обычные врачи, а нет-нет да что-нибудь выкинет: то заставит повернуться таким образом, каким никакой доктор еще не заставлял, то

велит так дышать и так покашлять или так не дышать и так не кашлять, как до него никто еще не велел».

Но Голубев знал, что если отбросить кабинет, блеск, мудреные фразы, длинные рецепты — все, чем пользуется такой профессор, то ничего от него и не останется.

Он знал и убедился на опыте, что у такого профессора бывает не меньше ошибок, чем у простого врача, только эти ошибки стараются прикрыть прихлебатели, порхающие в лучах его славы.

И сейчас Голубев с иронией наблюдал за ужимками Глебкина, за его рассчитанными на эффект движениями. В конце концов Голубева стала раздражать вся эта игра: осмотр длился слишком долго, Сухачев измучился. Когда Глебкин в пятый раз заставил больного сесть и сказал: «дышите», Голубев едва удержался, чтобы не прервать осмотра.

«Когда же все-таки ударят по этим ученым мужам, добывшим высокое звание чем угодно, только не умением лечить человека?» — подумал он с негодованием.

Наконец профессор, последний раз постукав больного по выступающим ключицам, поднялся. Голубев облегченно вздохнул и потоорпился к выходу.

— Тяжелое, неприятное сочетание заболеваний, — сказал Розов, беря под руку Голубева и заглядывая ему в лицо.

Несмотря на эти мрачные слова, глаза его,

казалось, говорили: «Не будем отчаиваться. Всякое бывает».

— Ничего не могу добавить, — продолжал он, — разве что посоветую сделать посев мокроты.

«По крайней мере просто и прямо, — подумал Голубев, высоко оценивая откровенность академика. — Послушаем, что скажет актер».

— Видите ли, уважаемые товарищи, — начал Глебкин издалека, — случай, безусловно, можно отнести к разделу казуистических...

«Так я и знал. Одни пышные фразы», — подумал Голубев.

— Я предлагаю, — заключил профессор, — взять анализы крови на холестерин, на остаточный азот, на белковые фракции, на...

— А это поможет больному? — не удержался Голубев.

Генерал Луков, почувствовав, что может произойти неприятный разговор, прервал Голубева:

— Вы свободны. Пошлите ко мне Кленова и Пескова.

— Слушаюсь.

На миг тяжелое чувство сжало его сердце. «Зачем я ломлюсь в открытую дверь? Зачем пытаюсь доказать невозможное? Воспаление легких, осложненное гнойным перикардитом, потом гнойный перикардит, осложненный воспалением легких, — да разве это можно перенести?»

— — —

Как только Голубев вошел в отделение и встретил вопросительные взгляды больных, как только он увидел глаза Цецилии Марковны, — он тотчас понял, что не имеет права распускаться, колебаться, не верить в успех дела...

Сто седьмая гвардейская, прослышав, что Сухачеву снова плохо, волновалась. Одни предлагали пойти к Голубеву и расспросить обо всем, другие считали неудобным «дергать доктора — у него и так забот полон рот». После долгих споров решили поручить Хохлову переговорить с Ириной Петровной и разведать, что и как...

Хохлов несколько раз проходил мимо палаты, где лежал Сухачев, и все не решался войти.

Наконец Ирина Петровна сама выглянула из палаты:

— Хохлов, что вы здесь делаете?

— Да так, случайно шел...

— Вы почему не показываетесь, обиделись? Тогда идемте, мне как раз помощник нужен.

Сухачев будто не заметил Хохлова. Он смотрел в угол палаты страдальческим взглядом и протяжно, жалобно стонал.

Увидев Сухачева, Хохлов чуть не отшатнулся — так изменился он за эти сутки: под рубашкой отчетливо проступили ключицы и ребра, лицо сделалось костлявым, маленьким.

И весь он стал меньше почти наполовину, точно это был не Павел Сухачев, а кто-то, отдаленно напоминавший его.

Хохлов хотел сказать ему что-нибудь ободряющее, но не нашел слов.

— Давай, Павлуша, укольчик сделаем, — предложила Ирина Петровна, подходя к кровати со шприцем в руках. — Хохлов, помогите ему повернуться.

Хохлов ловко подхватил Сухачева и осторожно переложил на живот. «Легкий-то какой стал», — удивился он, опуская Сухачева на подушки.

Сухачев словно не почувствовал укола. «Видно, боль от укола пустяк по сравнению с той болью», — рассудил Хохлов.

— Который раз укололи? — послышался голос Голубева.

— Усиленный, третий, — ответила Ирина Петровна.

Голубев ждал, пока Сухачева снова уложат на спину и он успокоится. Его укладывали долго, все ему было неудобно, все не так.

Наконец уложили. И тотчас он начал просить своего доктора:

— Ну помогите же... помогите... хоть чем-нибудь помогите.

Голубев с минуту колебался, что-то решал.

— Я попробую, подожди.

30

В юности Голубев страстно увлекался шахматами. В школе, бывало, оставался после уроков со своим другом Федей и играл, покуда уборщица не просила выйти из класса. Тогда друзья переходили в коридор, устраивались на подоконнике, играли в вестибюле или в раздевалке. Играли, где только можно. А если негде было расставить шахматы — играли вслепую, по дороге домой, в трамвае, даже на уроках, записывая ходы на промокашке.

Это была своеобразная «шахматная болезнь».

Давно уже прошла эта болезнь, но в памяти Голубева на всю жизнь сохранился один эпизод. Разыгрывалось первенство школы по шахматам. Он и Федя имели равное количество очков. Жребий свел их в последнем туре. От исхода этой партии зависело, кто будет чемпионом школы. Играли шесть часов. Позиция получилась острой и очень сложной. Один неверный ход мог привести к проигрышу. Ход был Голубева. Он сидел и думал. Болельщики начали возмущаться: «Тугодум. Да ты что — уснул? Ходи!» А он все думал, стараясь рассчитать многочисленные варианты. Но рассчитать все возможные варианты было вне человеческих сил.

Тогда какой-то внутренний голос подсказал Голубеву, что нужно ходить королем. И он

пошел королем. Это был неожиданный, так называемый тихий ход, и он оказался правильным. Голубев выиграл и стал чемпионом школы. Позже он узнал, что внутреннее чувство, подсказавшее ему правильный ход, называется интуицией.

Сейчас, стоя у койки Сухачева, перебирая в голове десятки возможных вариантов и мучась своей беспомощностью, Голубев, так же как тогда за партией, вдруг почувствовал, что решение должно быть неожиданным и вместе с тем простым.

«В самом деле, — рассуждал Голубев, — пенициллин не помогает. Мы пробуем применять его и в больших и в малых дозах — не помогает. Но ведь пенициллин действует только на определенную группу микробов — на кокковую инфекцию. А бывают же пневмонии, вызванные другими возбудителями? Например, бациллами Фридлендера. Не напрасно этот умный и добрый старик Розов советовал сделать посев мокроты. Пенициллин не действует на бациллы Фридлендера. Но зато на них действует стрептомицин. Черт возьми! Это же ясно. Как я раньше до этого не додумался?»

Голубев направился в лабораторию — узнать результаты посева мокроты.

Врач-лаборант — черноволосая, черноглазая, с черными усиками женщина — ответила на его вопрос довольно сухо:

— Высеяли грамм — положительный стрептококк.

— А бациллы Фридлендера не высеяли?

— Высеяли только то, что я сказала.

— Не может этого быть. Я вас попрошу повторить анализ.

«Во всяком случае, стрептомицин не повредит, — решил Голубев. — Его можно применить, как это называется, ex juvantibus — для пробы».

Голубев почувствовал, что ему нужен совет, толковое слово опытного человека. К кому же обратиться? Ближе всех был Песков. Тотчас вспомнилось все неприятное, связанное с ним. «Но Песков теперь как будто не тот. Или он хитрит? В конце концов, что я теряю?»

И Голубев пошел за советом к Пескову.

Пескова в отделении не оказалось. Никто не знал, куда он ушел. Это было странно. Обыкновенно начальник, уходя из отделения, говорил сестре ответственного поста, где его найти.

Голубев нервничал. Начальник был ему необходим. Без него нельзя предпринять ни одного шага: ни выписать стрептомицин, потому что без подписи Пескова рецепт не подпишет начальник медицинской части, ни идти к генералу, потому что «через голову» не положено обращаться. А между тем дорогое время летит.

Голубев оглядел все палаты, зашел в рентгеновский кабинет, затем сел к телефону и

принялся звонить по отделениям — Пескова нигде не было.

Голубев бросил трубку на рычаг и, кусая губы, стал думать. Что же теперь предпринять?

Он не заметил, как подошел Аркадий Дмитриевич Брудаков:

— Приветствую вас, коллега.

— Вы начальника не видели? — спросил Голубев.

— Имел удовольствие.

— Где же он?

— В медицинской библиотеке сидит, — Аркадий Дмитриевич саркастически улыбнулся. — Книгами обложился. Что-то пишет. Прямая угроза нашей науке.

Голубев больше не слушал. Он чуть не бегом пустился в библиотеку. Аркадий Дмитриевич увязался за ним, продолжая болтать:

— И все вы, вы его подзадорили. Дали ему жизни с этим больным. Старика не узнать — так изменился. Вся поправка после отпуска пошла насмарку.

Голубев недовольно покосился на Брудакова. Ему надо было сосредоточиться, обдумать предстоящий разговор.

— Но и вы устали. Понимаю. Нелегко воевать с таким печенегом.

Голубев поморщился, ускорил шаги.

— Я его достаточно узнал. На себе испытал. Если хотите — я первая его жертва, — не успокаивался Аркадий Дмитриевич.

Аркадий Дмитриевич наслышался о блестяще прошедшей операции и по настроению в госпитале понял, что Голубев снискал всеобщую симпатию. Он решил, что ему выгодно сблизиться с Голубевым.

— Хотите, я вам дам добрый совет? — спросил он, стараясь заглянуть Голубеву в лицо.

— Может, потом? Мне сейчас некогда, — сказал Голубев, едва сдерживая накипавшее раздражение.

— Именно сейчас. Это вам пригодится.

— Только поскорее.

Они остановились на лестнице. Мимо них проходила группа больных. Аркадий Дмитриевич подождал, когда они останутся одни, и вкрадчивым тоном сообщил:

— Запомните, Леонид Васильевич: всякая кривая около начальника — короче прямой.

Голубев посмотрел ему в глаза. Аркадий Дмитриевич угодливо улыбнулся. Однако, заметив сердитый взгляд, тотчас стал серьезным.

— Это вы к чему, Аркадий Дмитриевич?

— Не сердитесь. Я хочу вам посоветовать... Я на вашей стороне... морально, — добавил он после небольшой паузы.

— Стало быть, вы меня учите подхалимству?

— Не совсем так... видите ли...

— Ну так вот что, — оборвал его Голубев. — Идите вы к черту! Ясно? — и, не оглядываясь, побежал по лестнице.

Песков сидел спиной к двери, один в пустом зале. Склонив голову набок, он что-то писал, придерживая левой рукой раскрытую книгу.

«Рассердится, что я оторвал его от работы», — подумал Голубев.

Он помедлил, вздохнул и решительно направился к столику Пескова. Песков обернулся. Голубев увидел его удивленно-растерянный взгляд. Начальник поспешно захлопнул тетрадь: у него был такой вид, будто он только что совершил нехороший, недостойный поступок.

— Извините, — сказал Голубев, — вы мне очень нужны.

Одно мгновение, как показалось Голубеву, Песков не мог побороть смущения и досады, но затем изобразил на лице нечто похожее на улыбку:

— Гм... если нужно, пожалуйста. Прошу садиться.

— Сухачеву плохо, вы уже знаете, — начал Голубев, приближаясь к столу. — Мне пришла мысль применить стрептомицин, и вот почему... — он поторопился объяснить, боясь, что Песков перебьет его.

Песков, однако, не перебивал и слушал внимательно, сохраняя спокойствие. Только глаза его из-под нависших бровей смотрели неприязненно, враждебно.

— Я прошу вас поддержать мое предложение и подписать рецепт на стрептомицин, — закончил Голубев не совсем уверенно.

«Пусть попробует. Теперь все равно, коли пошли по пути экспериментов, — подумал Песков. — А начну возражать — упрекнут в косности и прочих грехах».

— Что ж, действуйте, — сказал Песков.

— Вы понимаете, мы ничего не теряем, а логика на нашей стороне, — принялся было доказывать Голубев, еще не веря, что все уладилось так быстро и легко.

— Пожалуйста, гм... разве я возражаю!

Голубев побежал в отделение — оформить выписку стрептомицина.

Когда Голубев ушел, Песков долго сидел неподвижно, сжав голову руками...

Утром он узнал, что на завтра назначается служебное совещание. Будут разбирать случай Сухачева, начнут говорить о старом и новом, о косности, рутине, об авторитетах, да мало ли еще о чем. Он чувствовал, что ему не поздоровится, и поспешил в медицинскую библиотеку вооружиться к предстоящему «бою».

Голубев подписал рецепт и, обрадованный удачным началом, отправился в медицинскую канцелярию.

Начмеда в канцелярии не оказалось, он был в тринадцатом отделении. Голубев не стал ждать — пошел туда.

Полковник Саляревский — сутулый, суетливый старик, своей фигурой издали напоминавший вопросительный знак, — приветливо поздоровался с Голубевым:

— Привет, старина! Слушаю.

Голубев коротко объяснил суть своей идеи и протянул на подпись историю болезни Сухачева и рецепт.

Саляревский привычным движением выдернул из нагрудного кармана красный граненый карандаш и пробежал глазами рецепт.

— На-на-на... — бормотал он, — так, так, так.

Голубев следил за карандашом — от его взмаха зависел дальнейший ход дела. Карандаш повисел в воздухе, остановился, приблизился к рецепту.

— Нет, не могу.

Саляревский сунул карандаш в карман.

— Почему, товарищ полковник?

— Стрептомицина сегодня в аптеке нет.

— Не может быть.

— Я лучше знаю, что у меня есть и чего нет.

— Но как же так, товарищ полковник?

— Я тут ни при чем. Во избежание недоразумений, зайдемте со мной в аптеку.

Начальник аптеки — лысый, высокий, приятный на вид человек — при входе Саляревского встал.

— Привет, старина! Как дела?

Начальник аптеки начал докладывать. Саляревский перебил:

— У нас стрептомицин есть?

— Нет, товарищ полковник. Вчера кончился. Через день получим.

Саляревский повернулся к Голубеву:

— Видите...

— Товарищ полковник, человек умирает. Стрептомицин может его спасти.

Саляревский развел руками:

— Что есть, товарищи, то пожалуйста...

Голубев решил идти к генералу. Но для этого необходима санкция начальника отделения. Голубев снова направился в библиотеку.

— Товарищ начальник, черт знает что получается... — и он рассказал Пескову о заминке со стрептомицином.

Песков пожал плечами:

— Тут уж я не виноват.

— Да не может быть, чтобы его не было. Ну, нет на складе, есть «НЗ».

— К сожалению, это не в моей власти. Да-с.

— Тогда разрешите обратиться к начальнику госпиталя?

— Обращайтесь, — сказал Песков.

Генерал был занят. Саляревский, желая подчеркнуть, что он готов сделать все, что может, зашел к генералу и через минуту позвал Голубева.

— Вы по поводу стрептомицина? — спросил генерал.

Голубев снова повторил суть своего предложения, объяснил, что стрептомицина нет в настоящее время в аптеке и на складе, но, вероятно, есть «НЗ» и он просит начальника госпиталя ходатайствовать о предоставлении медикамента из неприкосновенного запаса.

— Нельзя медлить, товарищ генерал. Больной очень плох.

— А вы уверены, что стрептомицин поможет?

— Я не могу так сказать, товарищ генерал, но логика...

— Логика? Логика вещь хорошая, но в нашем деле нужна точность.

— Я понимаю, товарищ генерал. Я для вас, наверно, не авторитет, только, честное слово, я прав. Честное слово, — твердым голосом повторил Голубев.

Генерал посмотрел на него пристально — лицо его оживилось, по-молодому сверкнули глаза, и он приказал Саляревскому:

— Напишите ходатайство на имя начальника лечебного отдела.

— Слушаюсь.

Когда вышли из кабинета, Саляревский проговорил:

— Я — пожалуйста. Прикажут — сделаю. Мне нетрудно...

В коридоре Голубева ожидал шофер начальника госпиталя.

— Товарищ гвардии майор, — отрапортовал он, — генерал приказал вас подвезти.

— Спасибо, служба. Поехали.

В медицинском управлении был неприемный день. Однако не меньше чем три десятка офицеров хотели попасть на прием. Все они толпились в бюро пропусков — кто ждал у окошечка, кто на скамейке, в ожидании, тол-

ковал с приятелем, кто стоял в очереди к телефону.

Прежде чем попасть на прием, надо было вынести длинную и нудную процедуру: узнать номер телефона лица, к которому надлежало обратиться, позвонить этому товарищу, попросить позволения пройти к нему и, если он разрешит, подождать, пока спустят заявку на пропуск, получить пропуск и только после всего этого пройти по неотложному делу.

Голубев не бывал раньше в медицинском управлении и не знал этого. Быстрым шагом он подошел к окошечку, протянул удостоверение личности.

— Вам к кому? — спросил дежурный — остроносенький сержант, не принимая удостоверения.

— К начальнику лечебного отдела.

Сержант полистал какие-то бумажки, покачал головой:

— Вас нет.

— Как нет? — не понял Голубев.

— Вы что — первый раз? Надо пропуск заказать. Позвоните два-два, шесть-шесть.

Голубев торопливо подошел к телефону, встал в очередь. Офицеры выходили из телефонных кабин злые.

— Терпеть не могу сюда ездить! — ругался один. — Они все больше бумажками заняты.

Голубев не понимал причины возмущения.

— Безобразие! Третий раз звоню, все заявки спустить не могут, — сказал худой высо-

кий капитан, почему-то обращаясь к Голубеву.

— Вы успокойтесь. Немного подождите, и все будет в порядке.

— И-и, товарищ майор. Посмотрим, что вы скажете.

Минут через десять подошла очередь Голубева. В трубке послышался неприветливый голос. Его спросили, кто он, по какому поводу прибыл, обязательно ли ему надо пройти сегодня. Голубев терпеливо отвечал на все вопросы.

— Хорошо. Ждите, — сказал неприветливый голос, и трубку повесили.

Голубев вышел из кабины, сел на скамейку рядом с капитаном.

— Заказали? — спросил капитан.

— Да.

— Теперь часа два подождете.

— Что вы! У меня неотложное дело.

Капитан слегка присвистнул:

— И-и, им нет дела до вашего дела. Вот увидите.

Прошло полчаса. Голубев подошел к окошечку, подал удостоверение. Остроносенький сержант полистал бумаги и молча возвратил удостоверение.

— Слушайте, я по срочному делу.

— Позвоните два-два, шесть-шесть, — монотонно произнес сержант, не глядя на Голубева.

Снова Голубев встал в очередь к телефону. Теперь, прислушиваясь к возмущенным голосам, он уже не удивлялся — сдерживал себя и молчал.

Опять тот же недовольный голос задал Голубеву те же вопросы.

— Я уже вам все объяснял. Я из госпиталя. Дело мое требует немедленного решения.

Голубева не стали слушать:

— Заявка будет. Ждите.

Голубев сел, кусая губы, подумал: «Вот что гробит любое живое дело».

— И-и, ждете? — спросил капитан.

— Жду, — Голубев посмотрел на часы. — Жду еще пятнадцать минут.

— И-и, не уложитесь.

— Посмотрим.

Однако он не высидел пятнадцати минут, подошел к окошечку.

— Вы к кому? — остроносенький сержант даже не повернул головы.

— Во-первых, товарищ сержант, извольте смотреть на человека, а не в бумаги, когда с вами разговаривают, — произнес Голубев негромко, сквозь зубы, но отчетливо, точно вколачивая слова. — Во-вторых, я подхожу к вам третий раз, и вы должны были запомнить меня и помочь в срочном деле. В-третьих, делаю вам замечание за формальное отношение к своим служебным обязанностям.

Остроносенький сержант вначале очень уди-

вился, выпупив глаза на грозного посетителя, потом медленно начал подниматься из-за стола.

— Слушаюсь, — сказал он покорно, — только ведь я ни при чем.

— Не болтайте. Скажите номер телефона начальника управления. Нет, лучше члена Военного Совета.

Сержант водил пальцем по стеклу, под которым лежал список телефонов, и с перепугу никак не мог найти нужный номер.

— Ну, скоро вы?

— Сейчас, сейчас. Двадцать ноль один.

Голубев подошел к очереди у телефона. Он не заметил, что в бюро пропусков наступила тишина, — все смотрели на него. Капитан вытягивал и без того длинную шею, стараясь, чтобы Голубев увидел его ободряющую улыбку.

— Товарищи, — сказал Голубев, обращаясь к очереди, — у меня срочное дело — человек умирает. Разрешите?

— Проходите, что за вопрос!

Прежде всего Голубев набрал старый номер. Вновь он услышал знакомый голос.

— Простите, кто со мной говорит? — спросил Голубев.

— А что вы хотели?

— Я хотел бы знать, кто со мной говорит. Моя фамилия Голубев, гвардии майор.

— Подполковник Тыловой.

Голубев помедлил и, пристукивая пальцами по стене кабины, проговорил:

— Так вот что, товарищ подполковник Тыловой. Я к вам звоню третий раз. Если вы сейчас же не спустите заявку и у меня умрет человек, отвечать будете вы. Жду пять минут и обращаюсь к члену Военного Совета.

Тыловой разъярился:

— Что это за угрозы? Прошу вести себя как положено. Вы знаете, где находитесь?

Голубев повесил трубку и вышел из кабины.

— С такими только так и разговаривать,— одобрили стоявшие в очереди офицеры.

— Засиделись! В часть бы их на разминку.

— Действительно, человек умирает, а они бюрократию разводят.

Ровно через пять минут в руках у Голубева был пропуск.

Лечебный отдел — большая светлая комната, заставленная столами, шкафами, шкафчиками, и всюду бумага — папки, подшивки, таблицы.

Несколько человек в военной форме и несколько в гражданской одежде сидели за столами с серьезным и неприступным видом.

Ближе всех к двери, у телефона, восседал человек с вытянутым вперед и как бы сплюснутым лицом. Очевидно, это и был подполковник Тыловой.

Когда Голубев вошел в комнату, Тыловой покосился на него и, вытянув мизинец

с длинным заостренным ногтем, указал на дверь.

— Подождите там.

Голубев, стараясь побороть неприязнь к этому человеку, сказал сквозь зубы:

— Мне нужен начальник лечебного отдела.

— Его нет. Подождите там.

— Тогда скажите, где он.

— Не знаю. Он мне не докладывает.

Сидевший напротив Тылового подполковник с седой, клинышком, бородкой неодобрительно покачал головой и вежливым тоном сказал:

— Он в командировке.

— Как же быть? Мне стрептомицин срочно нужен. Скажите, как пройти к начальнику управления?

— И он и заместитель — все уехали. Будут завтра в десять ноль-ноль. Приезжайте, пожалуйста. А требование оставьте.

Голубев подал бумагу.

На выходе с Голубевым повстречался капитан. Он, вероятно, только что получил пропуск.

— И-и, как дела?

Голубев безнадежно махнул рукой.

— Что я говорил! Вот вам и «я волком бы выгрыз бюрократизм».

— Ничего, капитан. Выгрызем.

Голубев со злостью потряс кулаком и пошел, сам не зная куда.

Он вспомнил мизинец с длинным заостренным ногтем, указующий на дверь. «И он еще меня гонит! Я для него — чернорабочий от медицины. Зачем волноваться за больного, бороться с Песковым, доказывать свою правоту? Зачем не спать ночей, бежать по вызову, терпеть капризы больного, слышать кашель, стоны? Зачем, если здесь в канцелярии гораздо спокойнее, приятнее и выгоднее: и чины идут, и положение видное — у начальства на глазах? Всегда можно путевку схлопотать и для себя, и для жены, насчет звания напомнить кому следует. Красота! А медицина — черт с ней! Пусть ею Дин-Мамедовы, Гремидовы и прочие докторишки занимаются. Ну, нет. Эта «красота» скоро кончится».

— В самом деле, — произнес он вслух. — Коммунист я или нет? Действовать надо, поехать к члену Военного Совета.

Он свернул на остановку, подождал трамвай и поехал в штаб округа. Члена Военного Совета на месте не оказалось. Голубев написал ему подробное гневное письмо и отправился в госпиталь.

По дороге, рассеянно глядя на мелькавшие за окошком троллейбуса витрины магазинов, рекламы кино и театров, он как будто успокоился, отвлекся. Но когда Голубев увидел высокие светло-коричневые корпуса госпиталя, растянувшиеся на целый квартал, сад с ветвистыми тополями, санитарную машину у проходной, у него снова стало гадко на душе.

«Что же я скажу Сухачеву? Буду стоять как дурак и смотреть на его мучения?»

Была секунда, когда Голубев собирался повернуть обратно. Но он взял себя в руки, бегом поднялся на крыльцо, вошел в вестибюль.

В вестибюле на скамейке сидели Наташа и Прасковья Петровна.

Голубев сначала оторопел, потом обрадовался: «Вот оно — лекарство! Мать! Она ободрит. Она умеет».

Он подскочил к Прасковье Петровне, схватил ее за плечи, быстро проговорил:

— Прасковья Петровна, как хорошо, что вы здесь! Раздевайтесь и пройдите к сыну.

Прасковья Петровна, не двигаясь, молча смотрела на него испуганными глазами.

— Не бойтесь... Ему нужна ваша помощь.

Прасковья Петровна заспешила к вешалке.

Голубев сел возле Наташи.

— Плохо ему. Помереть может, — сообщил он с грустью и тревогой в голосе.

Наташа придвинулась к нему, положила руку на плечо.

В вестибюле было мрачно и пусто. У телефона-автомата стоял больной в белом костюме и, то и дело продувая трубку, кричал:

— Алло... алло... фу, фу... Я говорю, алло... фу...

— К вечеру подскочила температура, — рассказывал Голубев, — немедленно начали

вводить пенициллин — без результата. Вероятнее всего, стреляем не по той цели. Я уверен, что возбудитель — бацилла Фридлендера. Понимаешь? Это значит, что пенициллин ни к чему, нужен стрептомицин.

— Алло... фу, фу... Алло, Саша... фу, фу, — старался больной.

— Я убедил начальника в необходимости применить стрептомицин и с его ходатайством ездил в управление. И без толку. Там такой бюрократизм, Наташа!

— Алло, алло, Саша... фу... Я говорю, алло, Саша... фу, — не унимался больной.

— Товарищ! — крикнул Голубев раздраженно. — Сколько можно фукать? Повесьте трубку.

— Ты не злись, — посоветовала Наташа.— Этим не поможешь. Подумай, может быть, есть выход.

— Без стрептомицина ничего нельзя сделать.

— Не может быть, чтобы ты не нашел выхода, — сказала Наташа, заглядывая ему в глаза и ободряюще улыбаясь. — Ты только соберись, подумай. Ты же все можешь.

— Успокаиваешь, как ребенка.

— Нет, я серьезно верю, что все будет хорошо. — Наташа опустила голову, продолжала совсем тихо: — Я так переживаю, точно это мой больной. Даже ночью просыпаюсь и вижу его перед собой — как он шевелит губами, просит пить... А ведь я его ни разу еще

не видела... А уже и план наметила, как бы я поступила на твоем месте... В общем, так же...

Голубев посмотрел на нее, и тут только понял, как тяжело Наташе без работы, как она любит свое врачебное дело, тоскует без него. Голубев встал, прижал голову Наташи к своей груди и, так ничего и не сказав ей, отправился на отделение.

31

Сухачев никак не мог понять, почему в палате две Ирины Петровны. Он пытался сосредоточиться, но, сколько ни вглядывался, перед ним были две Ирины Петровны. Потом все исчезло. Он очутился в кузнице. Гулкие удары молота по наковальне — бум-тук, бум-тук — отдавались у него в голове. И жарко стало, словно стоял он у самого горна. Сухачев попробовал отскочить, вздрогнул. И опять появились две Ирины Петровны...

— Успокойся, Павлуша. Постарайся уснуть, голубчик, — сказала Ирина Петровна мягким, ласковым голосом.

— Кузницу... уберите...

— Какую кузницу?

— Жарко мне... уберите...

Беззвучно открылась дверь. Сестра обернулась. В дверях стояла Прасковья Петровна. Не замечая сестры, она, не отрываясь, смотрела на сына.

Было слышно, как шумно, с тихим, коротким стоном дышит больной.

— Что же вы?.. Уберите... Разве не видите?.. Некому помочь... Вот мама бы... помогла...

Прасковья Петровна подошла к кровати. Сухачев смотрел на нее и, не узнавая, продолжал бредить:

— Не вытерпеть... этакой жары... железо и то... Эх, некому... Маму... Мать позовите...

— Я здесь, Павлушенька. Я тут, родной мой.

Прасковья Петровна склонилась над сыном. Он перестал стонать, узнал, всхлипнул.

— Мама... ой, мама... Как же так...

— Пройдет, Павлушенька. Потерпи маленько, — Прасковья Петровна гладила его по голове. — Пройдет, моя кровинушка.

Сухачев вздрогнул, отвернулся и, снова потеряв сознание, начал стонать и метаться на постели...

Подходя к палате, Голубев увидел Хохлова и Кольцова. Они стояли у дверей, не решаясь войти. По их взглядам Голубев понял — больному совсем плохо. Все ждут врача, надеются на него. Голубеву сделалось стыдно, словно он обманул товарищей, возвратившись с пустыми руками.

— Что вы здесь делаете? — спросил он, останавливаясь. — Идите в свою палату.

Из-за двери доносился быстрый, отчетливый голос Сухачева. Казалось, он рассказывает что-то очень интересное и веселое и боится, чтобы его не перебили:

— Мне огня... не страшно... только жарко... водой бы... облиться. Позовите... доктора моего... Он мне всегда помогает.

Голубев вошел в палату. Сухачев полулежал на подушках, слегка закинув голову, и, не переставая, перекладывал ее с одной стороны на другую. Щеки его были румяны, губы ярко алые, на лбу и на верхней губе капельки пота. Над ним склонились сестра и Прасковья Петровна.

В их взглядах Голубев уловил ожидание и надежду и виновато отвел глаза. Особенно стыдно было глядеть на Прасковью Петровну.

— Пенициллин вводите? — спросил Голубев.

— Ввожу, — ответила Ирина Петровна. И Голубев понял, что она разочарована его вопросом. Совсем не этого ждала от него сестра.

С тяжелым чувством он подошел к больному, взял его за руку и начал считать пульс. Этого можно было сейчас и не делать, но Голубев не мог оставаться в бездействии под вопрошающими, укоризненными взглядами.

Сухачев перестал метаться, остановил на Голубеве расширенные невидящие глаза. Ми-

нуту он смотрел на Голубева, как слепой, потом в его глазах мелькнул живой огонек.

— Что же... вы! — выдохнул он с болью и упреком.

Голубев не мог больше оставаться здесь, повернулся и вышел из палаты.

— Держите на кислороде, — бросил он на ходу.

Как поступить? У кого просить помощи? Он решил зайти в лабораторию.

— Что высеяли? — спросил он, едва открыв дверь.

— Все то же. Ничего нового, — неторопливо отозвалась черноволосая, с черными усиками врач-лаборант.

Ее хладнокровный тон возмутил Голубева. Он считал, что сейчас все должны волноваться за судьбу Сухачева, помнить о нем. Ведь остаются последние часы, быть может минуты, когда еще можно его спасти.

— Разрешите, я сам посмотрю.

У него был такой воинственный вид, что лаборантка, не возражая, уступила место.

Голубев сел за микроскоп и долго не мог «настроить» его по своим глазам. Он крутил микровинт и так и этак, пока не догадался: руки дрожат.

«А зачем я ищу? — подумал он. — Ну, допустим, что я найду злополучную бациллу Фридлендера, на которую не действует пенициллин, что из того? Стрептомицина-то все равно сегодня нет. Пусть так, — возражал он

себе. — Я докажу им, что я прав. Если и случится несчастье — не умрет идея».

Рука продолжала дрожать.

— Ищите. Бацилла Фридлендера должна быть, — повторил он упрямо, вышел из лаборатории и пошел к начальнику госпиталя.

«Я упрошу его позвонить командующему или связаться с академией. Пусть обращается куда угодно, только бы достать стрептомицин, хотя бы один флакон. Один до завтра. Я не уйду от него, пока не добьюсь. Права Наташа — выход должен быть».

Начальника госпиталя на месте не оказалось. Дежурный по штабу сообщил, что генерала срочно вызвали в медицинское управление. Голубев заглянул к полковнику Саляревскому. Его тоже не было.

— Вот черт подери! Когда надо — никого не найдешь.

Он зашел в партийное бюро к Бойцову. Но и его не было. За столом перед раскрытой газетой сидел молоденький лейтенант — секретарь комсомольского бюро — и что-то быстро записывал в тетрадку.

— Извините. К занятиям готовлюсь. Остался час, — сказал он, мельком взглянув на Голубева. — Ну, как у вас с этим больным?

— Плохо, — ответил Голубев, с шумом отодвигая стул и садясь. — Стрептомицин нужен. А его нет.

— Неужели?

— Ездил в медицинское управление. Бумажку взяли, а лекарство пока не выдали.

Голубев зажал руки между коленями, опустил голову. И сразу ощутил тяжесть и страшную усталость во всем теле. Казалось, нет сил пошевельнуться. На какое-то мгновение мысли о Сухачеве, о стрептомицине перестали его волновать. Одно желание побороло все: «Уснуть бы сейчас. Прямо вот здесь, на стуле». Ему пришло на память, как на фронте вот так же сутками приходилось не спать, оперировать раненых, а потом он заваливался в кузов тряской скрипучей машины, загруженной доверху носилками, и засыпал как мертвый. Еще припомнилось, как они с Наташей поженились в войну, записались в штабе дивизии и даже не сыграли свадьбу. Наташа вскоре уехала в тыл, на родину. А через полгода у нее родилась дочь. Он узнал об этом из писем. На фронт пришла фотография: на белой простынке лежит младенец и сосет собственную ногу. Это было его первое знакомство с дочерью... «Что-то сейчас делает Валюша? Я ее не видел, кажется, месяц...» «Позовите... доктора моего...» — вдруг услышал он быстрый отчетливый голос Сухачева и увидел, как он лежит на подушках и, не переставая, перекладывает голову с одной стороны на другую. Голубев вздрогнул, покосился на лейтенанта.

Лейтенант продолжал писать, не обращая на него внимания.

— Так вы передайте майору Бойцову: он мне очень нужен, — сказал Голубев.

— Сделаю.

Голубев медленно шел через сад к себе в отделение.

Мысли путались. Если ты видишь, что перед твоим окном упал человек и ты, врач, можешь помочь ему, но не помогаешь, потому что, скажем, как на грех, дверь твоей квартиры заперли соседи и унесли ключ с собой, тебя все равно будет мучить совесть. Если бы Голубев не верил, что может помочь Сухачеву, ему не было бы так тяжело. Но он верил и оттого особенно страдал.

Возле проходной его окликнули.

— Куда ты пропал? — услышал он взволнованный голос майора Дин-Мамедова. — Идем к больному.

— Я был у него полчаса назад.

Майор Дин-Мамедов обнял Голубева и сказал негромко:

— Он умирает, понимаешь.

Голубев бегом пустился в отделение.

Дверь в палату была открыта. В проходе теснился народ. Голубев издали заметил Кленова, Пескова, Гремидова, Цецилию Марковну, Брудакова. Больные Кольцов и Хохлов тоже были здесь, и никто не прогонял их. Стояла та особенная тишина, какая бывает возле умирающего. Врачи старались не шевелиться, все смотрели на Сухачева.

«Столько врачей, и все ждут, когда умрет человек. Зрители!» — промелькнуло в мыслях у Голубева.

— Ну-ка, уйдите отсюда, — сказал он больным.

Кольцов и Хохлов немного отошли и встали поодаль.

— Совсем уходите.

Врачи обернулись на голос, кто-то зашикал. Не обращая на это внимания, Голубев быстро вошел в палату, протиснулся к больному.

У изголовья стояли сестры. Ирина Петровна гладила Сухачева по голове. Аллочка тихонько плакала. Голубев взял ее за локоть, кивнул на дверь. Аллочка, недовольно передернув плечами, ушла.

Сухачев лежал неподвижно, глядя куда-то поверх головы Пескова. Лицо его казалось серым, а глаза особенно, будто из глубины, блестели. Его дыхание напомнило Голубеву всхлипывание ребенка во сне. Возле кровати, не двигаясь, уставившись расширенными глазами в стену, сидела Прасковья Петровна.

— Анютке передай... чтоб замуж... погодила... выходить... — заговорил Сухачев негромко, но отчетливо, с правильными интонациями.

Видимо, он говорил и до этого, потому что никто не удивился его словам. Все молчали и слушали. Сухачев сделал длинную паузу, собрался с силами, продолжал:

— Пусть еще... приглядится к Ивану... Да и тебе... одной оставаться... неладно одной...

По спине у Голубева побежали мурашки. Он сжал кулаки.

Громко всхлипнула Цецилия Марковна. Глаза у нее были красные, краска с ресниц размазалась, и по щекам текли черные слезы. И это не было смешно.

По коридору протарахтела каталка — кого-то провезли из перевязочной. Затем послышались торопливые шаги. В палату с торжествующим лицом вбежала лаборантка. Она отыскала глазами Голубева и, не сдержав радостной улыбки, закивала ему головой:

— Доктор! Есть! Нашла бациллу Фридлендера.

Голубев молча бросил на нее строгий взгляд и подумал: «Какое это имеет теперь значение?»

Лаборантка поняла, что́ тут происходит, смутилась, прижалась плечом к косяку.

— Насте передай... чтобы... — Сухачев сделал паузу, — нет, сперва скажи... любил, мол... я... жениться думал... — Сухачев говорил ровным голосом.

Но Голубев уловил этот переход от «чтобы» к «нет, сперва». За «чтобы» должно было следовать: ...Настя была свободна и поступала, как ей захочется, — в «нет, сперва» теплилась еще слабая надежда. Это открытие окрылило Голубева.

— Ты, Павлуша, сам увидишь свою Настю, — сказал Голубев как можно увереннее. — Слышишь?

Сухачев замолчал. Врачи зашевелились. Голубев поймал на себе недоуменно-насмешливый взгляд Аркадия Дмитриевича.

— Товарищи, больной очень устал, — сказал Голубев требовательным тоном.

Врачи вышли из палаты.

— Введите через нос катетры и все время держите на кислороде, — приказал Голубев сестре и отправился вслед за врачами.

Они стояли группкой у окна и молчали. Николай Николаевич молчал потому, что досадовал на неудачу и не хотел высказывать сейчас своей досады. Песков молчал, потому что все-таки умирал его больной. Подполковник Гремидов молчал, потому что по характеру своему был молчалив. Аркадий Дмитриевич потому, что боялся, как бы не высказать чего-нибудь такого, что уронило бы его в глазах начальников отделений. Все молчали потому, что умирал человек, и каждый в разной степени чувствовал сейчас свое бессилие, и всем было тяжело.

— Да-а, — с горечью произнес наконец Николай Николаевич, обращаясь к Голубеву. — Это, дорогой товарищ, мой четвертый случай.

— Нет, товарищ полковник, если бы стрептомицин...

— Вряд ли, — вставил Песков.

— Почему вряд ли? Вы слышали — высеяли бациллу?

— Гм... Это теперь несущественно.

— Существенно, — перебил Голубев, улавливая в тоне Пескова недобрый подтекст.

— Быть может, вы внесете еще одно предложение? — спросил Песков.

Голубев посмотрел на обрюзгшее, покрывшееся красными пятнами лицо Пескова и вдруг понял, что Песков остался прежним.

Голубеву хотелось ответить ему дерзостью, но он взглянул на дверь палаты, в которой умирал больной, и ничего не сказал. Круто повернувшись, он пошел из отделения, все убыстряя шаги.

32

Он шел через коридоры, через лестничные площадки, сам не зная куда. Хотелось кричать, ругаться. Было жаль Сухачева. Такой славный парень, так терпеливо переносил свой тяжкий недуг. Было жаль себя — столько потрачено сил и все попусту.

Голубев подошел к окну, обхватил голову руками и так стоял, может быть минуту, а может быть час. На улице смеркалось. Зажглись огни. Стал накрапывать мелкий дождь. По стеклу поползли дождинки. Ветер относил их в сторону и затем швырял в окно, как тогда, в ночь его первого дежурства.

Хлопнула дверь. Раздались громкие, твердые шаги.

— Вот вы где! — донесся рокочущий басок Бойцова.

— Петр Ильич, вы мне так сегодня были нужны. Вы понимаете? ..

Бойцов остановил его:

— Не будем терять время. Приехал профессор Пухов.

Голубев заметил на лбу Бойцова красную полоску. «Это от фуражки — он ездил за профессором».

Они подоспели как раз вовремя. Осмотр больного кончился. Врачи стояли в дальнем конце коридора и, судя по их разгоряченным лицам, спорили. Голубев услышал конец фразы, брошенной Песковым:

— ...любой prognosis pessima. Да-с, безнадежный.

— Я не согласен, — сказал Голубев, кланяясь профессору.

— А? Похвально. Ваше мнение? — быстро проговорил Сергей Сергеевич и, сложив руку лодочкой, сунул ее Голубеву.

— Я думаю, — сказал Голубев, осторожно пожимая руку профессора, — если врач заранее считает, что больной должен умереть, толку от такого эскулапа не жди.

Его бесило, что Песков рассуждает о живом еще человеке с такой безнадежностью. Нервы у Голубева были напряжены. Он ощущал, что в нем развернулась какая-то

сдерживающая пружина. Легко отпустить пружину и значительно труднее сжать ее. И Голубеву стоило колоссальных усилий сдерживать себя.

— Я внес предложение, — продолжал Голубев приглушеннее и медленнее, чем всегда.

— Еще одно, — вставил Песков. — Вы и так уже замучили больного.

— Да, да, расскажите, — живо проговорил Сергей Сергеевич, наклоном головы показывая, что он с интересом слушает Голубева.

Они стояли друг против друга, а Песков рядом.

— Я предлагал начать вводить стрептомицин, — объяснил Голубев.

Ему стоило огромных усилий говорить спокойно.

— Зачем — один бог ведает, — перебил Песков.

— Так как пенициллин не действует, — видимо, возбудитель не специфический, — продолжал Голубев, глядя на Сергея Сергеевича и делая вид, что пропускает мимо ушей реплики Пескова.

— Доказательства, — не унимался Песков.

Голубев заметил, как Сергей Сергеевич прищурил глаза и поджал губы, — его, очевидно, тоже начинали раздражать реплики Пескова.

— Высеяна бацилла Фридлендера.

— Это ничего не значит. Да-с. Тут комбинация двух заболеваний.

Сергей Сергеевич резко повернул голову и обратился к Пескову:

— Иван Владимирович, почему вы так настойчиво возражаете?

— Простите, но я начальник отделения. Я имею право поправлять своего ординатора.

— Мне кажется, сейчас ваши поправки некстати.

— Да и отделение это не ваше, а мое, дорогой товарищ, — вмешался Кленов. — Вы же сами распорядились перевести больного ко мне.

Песков смешался...

— Так, слушаю вас. Пожалуйста! — сказал Сергей Сергеевич, обращаясь к Голубеву.

— Я ездил в управление, — продолжал Голубев. — Стрептомицина не получил.

— Вот безобразие! Что же вам сказали?

— Сказали! — иронически воскликнул Голубев. — Сказали, что будет завтра. Как будто больной может ждать!

И Голубев, все больше волнуясь, начал рассказывать, как он ездил в управление.

— Подождите, — перебил его Сергей Сергеевич и быстро пошел к выходу. — Может быть, я помогу вам.

Голубев и Бойцов двинулись было за ним.

— Нет, нет. Я один. Вы подождите.

Они все же проводили профессора до гардероба. Бойцов взял Голубева под руку:

— Идемте ко мне...

Они зашли в партбюро, зажгли свет. Бойцов пододвинул стул, сел так, что колени его касались колен Голубева, успокоительно произнес:

— Не волнуйтесь. Сергей Сергеевич привезет лекарство.

— Вы уверены?

— Безусловно.

Бойцов поморщил нос, отчего лицо его приняло задорное выражение. И это выражение еще больше расположило Голубева к нему. Он почувствовал необходимость поделиться с Бойцовым своими неприятностями и размышлениями — всем, что накопилось на душе:

— Ах, жалею я, что вас не было со мной в медицинском управлении! Вы бы посмотрели там на одного типа. Он больше часа продержал меня в бюро пропусков, а потом разговаривать не захотел.

— Вы хоть фамилию записали этого чиновника? — спросил Бойцов, мрачнея.

— Я письмо члену Военного Совета написал. Да разве этим дело поправишь? Вы знаете, сколько у нас в медицине недостатков?

Голубев не усидел, вскочил и начал быстро ходить по комнате.

— В медицине иногда получается, как у того шофера, которому приказали «пулей лететь» туда-то и туда-то, но в то же время нагрузили машину так, что она еле-еле тронулась с места и на первом же подъеме забуксовала. Чтобы выполнить приказ, пришлось

выбросить груз. Медицину тоже совершенно необходимо разгружать от лишнего груза, если, конечно, мы думаем «пулей лететь» вперед, в кратчайший срок преодолеть отставание.

— Это интересно, — сказал Бойцов. — Я, признаться, был другого мнения о медицине. А сейчас столкнулся с ней, и многое меня возмущает.

— Вот-вот! — воскликнул Голубев. — Вы понимаете, что у нас получается? Практические врачи в амбулаториях, поликлиниках, больницах, госпиталях тратят больше половины своего времени, как это ни парадоксально, не на больного человека, а на писанину. Они заполняют десятки бумажек — карточек, сводок, сведений, бюллетеней, журналов, отчетов, пишут невероятно длинные истории болезни, удлиняя их записью не столько того, что есть у больных, сколько ненужным — тем, чего нет. Так прямо и пишут: того-то не обнаружено, таких-то симптомов нет.

— Вот безобразие! — возмутился Бойцов и заерзал на стуле.

— Вы слушайте дальше. — Голубев убыстрил шаги, начал говорить отрывисто, сердито: — Если врач перевернул страницу в истории болезни, он обязан переписать заново все назначения. Почему? Зачем? Говорят, так принято. Но ведь, кроме истории болезни, имеется еще тетрадь назначений, и в ней вполне возможно вести контроль, а в истории

отмечать только то, что вновь назначил или что отменил. Так нет же! А дневники? Это — целая эпопея! Снова каждый день упоминается все, что найдено у больного и чего нет и не может быть. И всем ясно, что этого не нужно делать, но по какой-то глупой традиции врач обязан это писать. Говорят: «История болезни — документ. На всякий случай вы можете. . .» Одним словом, если умрет больной, то вы можете доказать, что он умер не по вашей вине. Вот, оказывается, для чего нужна вся эта писанина. Ну, разве это мудро? — Голубев все более горячился, словно спорил с кем-то. — Масса времени идет на ненужное дело, и вследствие этого врач не имеет возможности наблюдать и изучать больного. Волей-неволей практические врачи — самое важное звено медицины — работают в четверть силы, не дают того, что могли бы дать. И таких врачей — семьдесят пять процентов. — Голубев в сердцах хлопнул рукой об руку. — Какая армия сможет успешно наступать, если семьдесят пять процентов ее личного состава усадить за столы и заставить писать приказы?

— Что же вы молчите? — спросил Бойцов. — Значит, довольны.

— Нет, Петр Ильич, я не знаю еще такого врача, который был бы доволен этой пожирающей время, тормозящей дело писаниной. — Голубев взглянул на часы: — А мы не опоздаем?

— Нет, еще рано.

Голубев снова принялся ходить из угла в угол.

— Или вот еще. Научные работы. Неправильно они у нас ведутся, кампанейски, формально. Я понимаю, что не каждый может заниматься наукой. Но тогда зачем же составлять планы, поручать эту работу тому, кто не может ею заниматься? У нас в госпитале, например, по плану чуть ли не половина врачей должна заниматься научной работой. На самом же деле занимаются наукой единицы. Зато отчеты пишут в сто листов. А работы не выполняются, переносятся из года в год, из плана в план. Я вспоминаю клинику, академию. Там тоже не все благополучно. Большинство диссертаций — так называемые теоретические. Слов нет, нужны и такие диссертации, но основное — наука должна помогать практике. А этого-то как раз и нет. Чаще всего адъюнкт защищает диссертацию лишь для того, чтобы получить звание кандидата медицинских наук. И выходит: кандидатов много, а медицине от этого не легче. Вон Брудаков, наверно, тоже будет кандидат. А толку-то что?! Ах, Петр Ильич! Идемте все-таки. А то я разговорился — не остановишь.

— Вы говорили в общем-то о нужных вещах.

— Волнует меня это. Поймите. Быстрее должна развиваться наша медицина, лучше лечить.

Бойцов поднялся, погасил свет:

— В ваших словах, по-моему, есть рациональное зерно. Я хотел бы вас просить, чтобы на одном из партийных собраний вы по этому поводу выступили. Согласны?

— Если это поможет делу, я готов выступить где угодно. Только ведь не понравится мое выступление.

— Не будем загадывать...

На площадке второго этажа они увидели Сергея Сергеевича. Он быстро и ловко, мелкими уверенными шажками поднимался по лестнице. Голубев заметил в правом его кулаке блестящую головку флакончика и кинулся к профессору:

— Достали?

Сергей Сергеевич, не говоря ни слова, протянул флакончик со стрептомицином. Голубев схватил его обеими руками и, забыв поблагодарить профессора, побежал в палату, где все так же толпились врачи.

— Ирина Петровна, быстрее шприц! — крикнул Голубев.

Врачи оглянулись. Николай Николаевич неодобрительно покачал головой.

«Они еще не знают», — подумал Голубев.

— Товарищи, вот! — сказал он, поднимая над собой флакончик с блестящей головкой. — Достали! Сергей Сергеевич достал.

Он заметил, как ожили глаза Николая Николаевича. Песков как будто сделался меньше, сгорбился.

«Он увидит, он поймет свою ошибку», — подумал Голубев, чувствуя сейчас любовь ко всем людям.

Лишь Прасковья Петровна сидела неподвижно, все в той же позе.

— Прасковья Петровна, — сказал Голубев, — стрептомицин достали. Теперь все должно быть в порядке.

Прасковья Петровна не пошевелилась.

«Ничего, она увидит». Голубева охватила небывалая жажда деятельности. Он чувствовал себя в пять, в десять раз сильнее. Казалось, не существовало в мире такой преграды, которой он не мог бы сейчас преодолеть. Ему не терпелось самому ввести первый кубик лекарства.

— Ну, как там шприц? — спросил он. — Готовьте!

— Пусть лучше сестра введет, — посоветовал кто-то из врачей. — Вы слишком возбуждены.

— Не беспокойтесь!

Он побежал мыть руки. Вернувшись, протянул Ирине Петровне флакончик:

— Разведите, пожалуйста.

Ирина Петровна обтерла руки спиртом, взяла флакончик, сняла с него блестящую головку, обнажив резиновую пробку, набрала из второго пузырька светлую жидкость, проколола пробку флакончика со стрептомицином и впустила туда светлую струйку. Все это она

проделывала, как казалось Голубеву, очень медленно.

«Это к лучшему. Надежнее будет. Потерпи», — сдерживал и успокаивал он себя.

Наконец Голубев взял в руки шприц. Он был еще горячий, металлическая часть слегка обжигала руки. Как только он взял шприц, радость и возбуждение как бы отодвинулись, уступив место сосредоточенности.

— Переверните его, — приказал Голубев, подходя к кровати.

Кто-то быстро выполнил его приказание. Сухачев протяжно всхлипнул, и наступила тишина. Такая жуткая тишина, точно в палате никого не было. На Голубева вдруг нашел страх. «А что, если уже поздно? А что, если и стрептомицин не поможет? — подумал он и услышал, как торопливо и тревожно колотится его сердце. — Надо ввести побольше. Ударную дозу». И тотчас он справился со страхом и выключил себя из всего, что было лишним. Он наклонился над Сухачевым, обтер его кожу спиртом, пустил вверх пробную струйку. «Чтобы все хорошо было, чтобы все хорошо было», — прошептал он про себя и сделал укол.

Когда Голубев распрямился и протянул шприц сестре, он почувствовал, что рубашка его прилипла к спине.

— Что это здесь так много людей? — раздался торопливый голос. — Давайте, това-

рищи, отсюда! Не будем тревожить тяжелого больного.

Перед Голубевым стоял полковник Саляревский, еще больше напоминавший знак вопроса, — видимо, к вечеру он согнулся еще и от усталости.

— Ездил в окружной склад, — сказал Саляревский, протягивая Голубеву небольшую коробку. — Что от нас зависит — всегда, пожалуйста.

Это был стрептомицин. Целая коробка стрептомицина!

«Какие они все замечательные люди», — подумал Голубев, и чувство радости снова переполнило все его существо. Он тряс руку Саляревскому, не замечая, что тот уже морщится от боли.

— Что от нас — пожалуйста, — повторил Саляревский, высвободив руку и помахивая ею в воздухе. — Был в лечебном отделе — там переполох. Подполковник Тыловой валерьянку принимал. Нашего генерала срочно вызвали к члену Военного Совета. Это не вы там устроили?

— Нет, что вы! — ответил Голубев, на радостях позабыв о своем письме.

Они вышли из палаты и чуть было не налетели на начальника госпиталя. Генерал Луков был сердит.

— Привезли? — спросил он отрывисто и строго.

Фигура Саляревского мгновенно вытянулась, приняв вид восклицательного знака:

— Так точно, товарищ генерал.

— Вы свободны. Гвардии майор, идемте со мной!

«Какой он хороший, — думал Голубев, шагая рядом с генералом, — специально ездил в штаб, заботился».

— Вы в управлении были? — спросил генерал, не поворачивая головы и не останавливаясь.

— Был, товарищ генерал.

— И что же?

— Они лекарства не выдали. Они сказали... — Голубеву хотелось как можно мягче рассказать о том, что было в управлении. В конце концов они поняли, выдали, оказались хорошими людьми. — Они отложили это дело до завтра. Не было начальника...

— Так зачем же вы поехали к члену Военного Совета? — сердито перебил генерал, остановившись и смерив Голубева гневным взглядом. — Почему сначала не доложили мне?

Голубев был настолько возбужден и переполнен радостью, что гнев генерала истолковал по-своему. «Он, очевидно, сам собирался сделать то же. Он обиделся, что я его обошел».

— Я поспешил, товарищ генерал. Я к вам заходил...

— Шуму наделали на весь округ, — сказал генерал несколько мягче. — Завтра после совещания зайдите ко мне.

— Слушаюсь.

Начальник госпиталя увидел в коридоре профессора, окруженного врачами, и подошел к нему.

— Пришлось, знаете, помочь, — быстро проговорил Сергей Сергеевич.

— Благодарю, Сергей Сергеевич. Мы краснеем за нашу нераспорядительность, — сказал генерал.

— А мне остается извиниться, товарищ генерал, за своего подчиненного. — Песков сделал легкий поклон. — Теперь вы сами убедились, какой у него характер.

Генерал покосился на Пескова, потом бросил добродушный взгляд на Голубева и сказал:

— Характер ничего, подходящий. — Он взял профессора под руку и направился к выходу. — Двенадцатый час, всем пора на отдых.

— Что он? — спросил Бойцов, отводя Голубева в сторону. — Очень ругал?

— Нет, Петр Ильич. Он — замечательный человек.

— Я никогда еще не видел его таким свирепым. Видно, дали ему почувствовать.

— Кто дал?

— Член Военного Совета. Вы же сами ему писали.

Тут только до Голубева дошло, что стрептомицин получен благодаря срочному вмешательству члена Военного Совета.

— Какой, должно быть, великолепный человек член Военного Совета, — проговорил Голубев с чувством. — Все узнал, и понял, и помог.

— Идемте спать, — сказал Бойцов.

Голубев спать не пошел. Разве мог он сейчас уснуть? Он вернулся в палату и велел Василисе Ивановне принести кресло, но не сел, а принялся бесшумно и бесцельно ходить по палате. Его мучила жажда деятельности, а делать было нечего.

Сестра и нянечка вполне справлялись с уходом за больным. Прасковья Петровна продолжала сидеть неподвижно. Голубеву оставалось ждать.

— Кислорода хватает? — поинтересовался он, беря в руки подушку и открывая кран.

Струя кислорода холодком обожгла лицо.

— Два баллона в запасе, — ответила Ирина Петровна, вытирая стерилизатор.

«Какая она прекрасная женщина! Труженица. Она, кажется, не отдыхала несколько дней. Вид у нее утомленный».

— Вас кто утром сменяет? — спросил Голубев участливо.

— Наверное, Аллочка.

Он вспомнил, что Аллочка на плохом счету. Это она недоглядела, когда Сухачев убежал из палаты. Но Голубеву тут же захотелось оправдать ее.

— Что ж, Аллочка — славная сестра. Она стала лучше работать, — сказал он с тем же-

ланием восхищаться всеми людьми, которое появилось у него сегодня. — А вам необходимо отдохнуть, отоспаться.

— И вам, доктор.

Голубев пожал плечами, подошел к столику, осмотрел иглы, шприц. Все было в порядке. Шприц разобран, в иглах торчали тонкие волоски.

Нет, ему решительно нечего было делать.

Голубев сел в кресло, откинулся на спинку и положил ногу на ногу. Сухачев все так же лежал с открытыми глазами и глухо постанывал. Прасковья Петровна опустила руки на колени.

— Прасковья Петровна, вы бы отдохнули, — предложил Голубев.

Прасковья Петровна взглянула на него и ничего не ответила.

Послышался несмелый стук. Василиса Ивановна приоткрыла дверь, высунула голову, с кем-то пошепталась.

— Вас просят, доктор.

Голубев обрадовался, — по крайней мере, есть какое-то занятие.

В коридоре, прижавшись спиной к стене, стоял среднего роста человек с вытянутым вперед, как бы сплюснутым лицом. В первую минуту Голубев не узнал его — такой он был невзрачный и жалкий.

— Слушаю вас, — сказал Голубев приветливо, стараясь ободрить этого жалкого человека.

— Вы меня извините. Уже поздно. Я, быть может, некстати, — проговорил тот, робко улыбаясь.

— Нет, нет, пожалуйста.

— Я из управления. Вы, очевидно, меня не узнаете. Я — Тыловой.

Как ни великодушно был настроен Голубев, эта неожиданная встреча рассердила его.

— Что вам угодно? — спросил он сухо и официально.

— Собственно говоря, получилось так... со всяким может... — сбивчиво заговорил Тыловой.

— Короче, пожалуйста, — попросил Голубев, ощущая растущее раздражение.

— Я пришел, собственно говоря, извиниться перед вами. Получилось действительно не очень... И попросить...

— Вас, вероятно, вызывал начальник и ругал? — спросил Голубев.

— Собственно говоря, да, и даже больше. Меня пообещали снять...

— Что же вы хотите? — прервал Голубев.

— Возьмите свой рапорт обратно.

— Какой рапорт?

— Члену Военного Совета. Мы с вами коллеги. Если встретимся, в долгу не останусь.

Голубев почувствовал, что с трудом владеет собой. Необходимо было как можно быстрее кончать разговор:

— Слушайте, вы, коллега, идите отсюда!

— Товарищ Голубев, — произнес Тыловой, видимо забывшись, тем надменным тоном, каким он разговаривал в управлении.

— Немедленно уходите!

Вернувшись в палату, Голубев долго не мог успокоиться. «Нет, все-таки каков! И как переменился! Когда он был там, в своем кресле, среди бумаг, а я внизу, в телефонной будке, он разговаривать со мной не желал. Но стоило вытряхнуть его из кресла, приподнять за шиворот из-за стола — куда девались его спесь и важность?»

До Голубева долетел какой-то шепот. Прасковья Петровна слегка подалась вперед, исстрадавшееся лицо ее ожило. Она смотрела на сына посветлевшими глазами.

— Уснул, — повторила она.

Голубев взглянул на Сухачева и увидел, что тот в самом деле закрыл глаза и как будто задремал: дыхание сделалось ровнее, верхняя губа, покрытая капельками пота, чуть заметно вздрагивала. И Голубев тут же забыл о неприятном разговоре с Тыловым. Радостное возбуждение вновь нахлынуло на него и уже не покидало до утра.

33

Песков явился в конференц-зал раньше всех, сел на свое место в первом ряду слева, вытащил тезисы выступления и принялся просматривать их. В большом зале было пу-

сто и тихо. Скоро сюда придут врачи, и начнется совещание. Станут «прорабатывать» его, Ивана Владимировича Пескова. Он оглядел зал, кашлянул и задумался.

Раньше Песков готовился защищаться: кое-что признать, кое в чем покаяться, а в общем настаивать, что медицина — темное дело и ошибки могут быть со всяким. Сейчас он понял, что подобная тактика никого не убедит. Начальство — неизвестно почему — настроено против него. Песков захрустел пальцами. «Впрочем, все будет зависеть от общественного мнения. Большинство врачей знает меня как опытного, старого терапевта. Стало быть, нужно задать тон, настроить аудиторию соответствующим образом, не дать противникам завладеть ею, опередить их. Да, но как это сделать?»

Песков принялся анализировать все, что произошло с момента поступления этого злополучного Сухачева. «Дежурил Голубев и неправильно поставил диагноз. Это его минус. Я приехал ночью и поставил правильный диагноз. Это мой плюс. Пожалуй, два плюса, если считать мой ночной приезд. Что было потом? Дальше я организовал индивидуальный пост. Это тоже плюс. Затем началась канитель с пенициллином. Первый консилиум, второй».

— Приветствую, Иван Владимирович.

Перед ним стоял Ерёмкин — пучеглазый, с круглым брюшком, китель на груди собрался

складками. Выражение лица Ерёмкина казалось презрительно-лукавым. Это был недоброжелательный человек, склочник. Врачи между собой звали его «Ерёма» и не любили. Песков тоже не питал к нему никакой симпатии, но сегодня ему нужны были сторонники, и он учтиво раскланялся.

— Как дела, Иван Владимирович?

— Гм... Плохо. Прорабатывать старика собираются. Рутинером, видите ли, стал.

Ерёмкин хихикнул, словно его внезапно пощекотали.

— Слышал, Иван Владимирович, и не одобряю.

Песков посмотрел на Ерёмкина внимательно, стараясь понять, к чему относится это «не одобряю» — к нему, к Пескову, или к его противникам. По лицу Ерёмкина ничего нельзя было угадать.

— Как вы считаете, в нашем деле нужна осторожность?

— В том-то и суть, Иван Владимирович, — высоким голосом протянул Ерёмкин. — Терапия — наука осторожная. Семь раз отмерь, один раз отрежь...

Ерёмкин подмигнул Пескову, огляделся. В зал стали входить врачи.

— Извините, — заговорил он скороговоркой, — мне полковник Саляревский поручил выступить. Я вижу, мы с вами солидарны. Он идет, я не хочу, чтобы нас видели вместе.

Ерёмкин поспешно ретировался. Этот разговор несколько ободрил Пескова. «Стало быть, я попал в точку. Есть надежда».

— Как живем, старина? — услышал он голос Саляревского.

— Видите, сижу на скамье...

— Не будем плакаться в жилетку, — прервал Саляревский и тотчас обратился к другому, к третьему, перебрасываясь с врачами пустыми, ничего не значащими фразами.

Песков не успел уловить его настроения. Вообще-то он никогда не доверял Саляревскому, зная, что у того на неделе семь пятниц, но сегодня важен каждый голос.

«Начальство — это одно, а что скажет коллектив, осудит меня или отнесется ко всему сдержанно, — вот что главное».

В зале становилось шумно. Песков по голосам узнавал многих товарищей. Ему не хотелось оборачиваться, показывать свое лицо. Он сделал вид, что готовится к выступлению, углубился в свои записи.

— Вот он сидит!

— Какой прибитый!

— Жаль старика!

«Жалеют, — это хорошо», — подумал Песков. Он еще больше опустил плечи и склонил голову. Теперь он ни о чем не думал, только прислушивался к разговорам за спиной.

— Я не сторонник мгновенных выводов, — говорил полковник Размазанов — начальник глазного отделения.

«Все-таки Размазанов — подходящий товарищ. Он в душе на моей стороне. Он сам такой, как ныне любят говорить, — «переставший работать над собой». Я не один. Среди врачей, сидящих сейчас в зале, есть такие, как я, как Размазанов. Удар по мне — удар и по ним. Надо, чтобы они это поняли».

— Товарищи офицеры! — раздалась команда.

Песков по привычке поднялся, вытянул руки по швам.

— Садитесь, пожалуйста, — послышался незнакомый, немного сипловатый голос.

В зале с минуту стоял шум, двигались стулья, а затем сразу же наступила непривычная тишина.

Первым к столу тяжелой, неторопливой походкой прошел грузный, высокий генерал.

Увидев его красное крупное лицо, красную шею, в которую врезался ворот кителя, и блестящий серебряный погон, Песков на мгновение почувствовал страх. Это был начальник медицинского управления. Его приезд придавал особую значительность происходящему.

Начальник управления, генерал Луков, Пухов, Саляревский сели за стол. Песков не сводил с начальника управления глаз, стараясь понять, как он настроен.

Начальник управления облокотился о стол, обхватил большими красными руками подбородок и шею и, метнув в зал короткий взгляд, опустил голову.

Песков видел, как генерал Луков спросил что-то у начальника управления, должно быть, разрешение начать. Тот, не глядя, кивнул головой. Генерал Луков встал, быстрым движением одернул китель. Открывая совещание, он напомнил о свободе критики, о борьбе мнений, без которой не может развиваться наука.

«Зачем он это говорит? — с раздражением думал Песков. — Это и так всем известно».

— Перед нами конкретный случай, — сказал генерал Луков. — Он является ярким примером недостатков в нашей работе. Мы начнем с этого случая, а затем перейдем к обобщениям. Прошу не забывать о деловых предложениях... — он сделал паузу, отыскивая глазами кого-то. — Гвардии майор Голубев, доложите.

Начальник управления бросил на Голубева изучающий взгляд и остался, как показалось Пескову, не совсем доволен.

Голубев вышел на трибуну, положил перед собой историю болезни, прикрыл ее руками и начал докладывать.

«Как он развязно держится, — думал Песков, — не смотрит в историю, желает произвести эффект». Песков старался не слушать, что говорил Голубев, но все же невольно улавливал смысл. И хотя Голубев говорил просто, говорил правду, Пескову было противно каждое его слово.

— ...Тогда же ночью приехал начальник отделения, — говорил Голубев, — и поставил

правильный диагноз... Но консилиум не согласился с моим предложением...

«Тебя, мальчишку, не послушали», — тотчас мысленно ответил Песков.

— ...И лишь повторный, расширенный консилиум решил оперировать больного...

Песков прислушался. Зал молчал, только сзади донесся еле уловимый шепот: «Он, знаете, очень похудел». Песков догадался, что эти слова относятся к Голубеву. «Меня жалеют, а ему сочувствуют».

Голубев закончил совсем неэффектно. Песков напряженно вслушивался, как отзовется аудитория. Врачи вели себя весьма сдержанно. Правда, было много вопросов, но они носили характер специальный — интересовались температурой больного, анализами крови, посевом мокроты и тому подобным.

— Теперь, если вопросов больше нет, прошу выступать, — сказал генерал Луков. — Отталкиваясь от этого случая, расскажите и о других недостатках, мешающих нашей медицине двигаться вперед. Итак, кто желает выступить?

Зал молчал. Песков понял, что наступил его черед. Он попросил слова. Поднимаясь с места, он покосился на президиум. Начальник управления откинулся на спинку стула, скрестил руки на животе и наблюдал за ним. Песков старался не выдать своего волнения, спокойно поднялся на трибуну и оглядел зал. Все смотрели на него с любопытством и ожи-

данием. На один миг он потупил взор. Надо было спасать свою репутацию, любой ценой поддержать свой авторитет.

— Я начну с учения Ивана Петровича Павлова. Гм... Не так уж много осталось нас, людей, имеющих честь быть его учениками. Здесь, пожалуй, я да полковник Размазанов. С огромной благодарностью вспоминаем мы своего великого учителя.

Он сделал паузу, стараясь уловить, какое впечатление произвело начало. Зал внимательно слушал. Майор Дин-Мамедов ткнул локтем сидевшего рядом с ним Голубева и что-то шепнул ему. Песков заметил, как ехидно покривились толстые губы Дин-Мамедова.

— Иван Петрович был энергичный, вечно молодой, — продолжал Песков. — Лекции читал удивительно интересно, сопровождая их яркими примерами и опытами. На его лекциях актовый зал бывал битком набит. С других курсов приходили.

— А это он к чему? — проговорил майор Дин-Мамедов. — Разве сегодня вечер воспоминаний? — Слова эти были сказаны негромко, но в зале было тихо, и все услышали их. На некоторых лицах мелькнули улыбки.

«Ужасно весело», — с раздражением подумал Песков.

— Мне припомнился такой случай, — продолжал он быстрее и громче, стараясь не показать вида, что на него подействовала реплика. — Как-то один из ассистентов Ивана

Петровича, наблюдая за опытом, тут же сделал, гм... кое-какие предположения.

Он покосился на Голубева. Тот сидел безучастно, напряженно шевеля бровями. Видимо, устал и боролся с собой, чтобы не уснуть. Это разозлило Пескова. Его слова были направлены Голубеву, а тот дремал...

— «Не делайте поспешных выводов! Будьте терпеливыми», — сказал тогда Иван Петрович.

Зал молчал, но на лицах слушателей уже не было напряженного внимания. Чувствовалось, что люди недовольны. Все, о чем он говорил, было им давно известно, а они ждали нового, свежего. Нельзя терять дорогого времени: либо он сумеет так повернуть свое выступление, что завоюет симпатии аудитории, либо окончательно надоест и его перестанут слушать.

— Я это говорю неспроста, — повышая голос и делая ударение на последнем слове, продолжал Песков. — У нас злоупотребляют, к сожалению, поспешными выводами. Да-с.

Песков стоял очень неудачно — боком к президиуму — и не видел начальника управления. А ему очень хотелось знать, как воспринимает начальник его слова.

— Здесь есть коллеги, — сказал Песков, ткнув в зал костлявым пальцем. — Есть мои коллеги и по возрасту и по врачебному стажу.

Он помедлил. Предстояло самое важное: склонить стариков на свою сторону, дать им

понять, что дело касается их тоже, а не его одного:

— Мы-то, старики, знаем, что в нашем деле главное — осторожность, осторожность и еще раз осторожность.

Он заметил, как Ерёмкин одобрительно кивнул головой, полковник Размазанов и еще несколько стариков пошевелились, сели поудобнее.

Стараясь использовать благоприятный момент, Песков навалился грудью на трибуну и воскликнул:

— Memento mori! Помни о смерти! — гласит старая латинская поговорка.

— Но не забывайте и о жизни! — с места выкрикнул майор Дин-Мамедов. — Это, между прочим, самое важное в нашем деле.

— Молодые коллеги думают, гм... что мы, старики, окончательно поглупели, — с сарказмом проговорил Песков, обращаясь к аудитории. — Представьте себе, мы тоже думаем о жизни. Прежде всего, о жизни. Да-с. Я бы сказал, что жизнь свою мы прожили для того, чтобы жили другие люди! — произнес он с пафосом.

По залу пронесся одобрительный шумок. Песков с удовольствием почувствовал, что ему начинают симпатизировать. Он повернулся вполоборота, будто к свету, на самом деле бросая взгляд на начальника управления. Генерал сидел спокойно, ничем не выражая своих чувств.

— А своему уважаемому ординатору, — продолжал Песков с подъемом, впиваясь глазами в лицо майора Дин-Мамедова, — я могу заметить, что ведет он себя по пословице: duobus certantibus — tertius gaudet — когда двое дерутся — радуется третий.

Зал отозвался легким смешком. Генерал Луков постучал карандашом по графину.

— Товарищи, прошу внимания. Вопросы у нас весьма серьезные, и не нужно сводить принципиальный спор к личной пикировке. А вас, товарищ полковник, — сказал генерал Луков Пескову, — я бы попросил, коль скоро вы начали говорить, остановиться на данном случае. Именно на нем. Поскольку и нас, и аудиторию интересует ваше мнение и ваше отношение...

Песков не дал ему окончить, почти совсем лег на трибуну, быстро проговорил:

— О данном случае... Уважаемые коллеги, не секрет, что post factum легко говорить, и критиковать, и побеждать, если хотите... В чем заключается мой corpus delicti?

Он опять заметил одобрение на многих лицах — симпатии аудитории были снова на его стороне.

Генерал Луков постучал карандашом по графину. «Ага, не нравится, не любишь?» — злорадствовал Песков и, словно не расслышав предупреждающего стука, продолжал:

— Мой состав преступления лишь в том, что я противник бессмысленного экспериментирования.

Генерал Луков пытался что-то сказать. Песков не дал себя перебить:

— Позвольте... А тут без достаточных оснований иди на серьезную операцию, вводи пенициллин в перикард, применяй стрептомицин...

Майор Дин-Мамедов вскочил с места. Песков видел, как Голубев тянул его за рукав, но Дин-Мамедов не слушался:

— Вы вообще всё тормозите. Любую инициативу глушите. Это все знают. Все видят...

В зале поднялся сильный шум. Часть врачей с интересом смотрела на Пескова, часть повернулась в сторону майора Дин-Мамедова. Кто-то в задних рядах аплодировал. Слышались возгласы:

— Зачем он перебивает? Скажите ему, чтобы сел.

— Пусть говорит. Это лучше, чем слушать латинскую мешанину.

Генерал Луков, краснея, хлопнул ладонью по столу, крикнул:

— Прекратить шум! — Шум оборвался. — У нас совещание, а не сходка. Майор Дин-Мамедов, еще одно слово, и я удалю вас из зала. Продолжайте, полковник Песков.

— Я не могу, кх... кх... не могу в такой обстановке говорить, — пробормотал Песков и сошел с трибуны.

Ему стало трудно дышать, точно невидимая рука схватила за сердце, сжала до боли и не отпускала. Он несколько раз глубоко вздохнул и начал себя успокаивать: «Еще не все. Еще неизвестно, что скажет начальник управления».

Ожидать пришлось долго. Желающих поговорить оказалось много.

— Я, товарищи, не специалист в области медицины, поэтому медицинской стороны дела не буду касаться, — говорил Бойцов. — Я буду говорить о другой стороне дела, о человеческой. Всегда ли внимательно и серьезно относятся у нас к человеку?

«Болтология-с», — раздраженно подумал Песков.

— Я приведу один пример, — продолжал Бойцов. — Нынче летом я был в отпуске на родине. Присутствовал в МТС на партийном собрании. Коммунисты крепко проработали одного товарища за то, что он никогда не выступает с критикой. И что бы вы думали? Этот товарищ — фамилия его Синяков — через день приносит в партийную организацию справку от врача-психиатра и просит пробрать тех, кто критиковал его на собрании, якобы за оскорбление личности. Справка, выданная врачом, была следующая.

Бойцов достал из кармана записную книжку и прочитал:

— «Дана гражданину Синякову в том, что он — Синяков — по своему психическому

состоянию высказывать критических замечаний не может. Райпсих Колодкин».

Слова Бойцова покрыл дружный хохот.

«Оперетта», — чуть было не выкрикнул Песков и перестал слушать.

К трибуне торопливо прошел профессор Пухов и сразу же заговорил четким, энергичным голосом:

— Уважаемые товарищи! Врач, как известно, тоже человек. У него есть самолюбие, гордость и другие качества. Но, Иван Владимирович, нельзя...

«Этот разведет. Он думает, от его проповеди что-нибудь изменится. Я стану другим, или Размазанов не будет перестраховываться — ставить под каждым диагнозом по два вопроса, или Ерёмкин прекратит свои дрязги. Ерунда!»

— В старое время понятие о врачебной чести было иным. Да, да. Раньше врачи тщательно скрывали ошибки своих коллег, дрожали за свой престиж, боялись признаться в своих промахах. Это было понятным в условиях частной практики. Приведу только один пример. Сыну моему едва не ампутировали ногу лишь потому, что известный профессор нашел, что у него костная опухоль, и ни за что не хотел отказаться от своего диагноза. Но сейчас, друзья мои, надо признавать свои ошибки, исправлять их и идти вперед. Да, да...

Хлопнула дверь. Все повернули головы к выходу. В дверях стояла Аллочка. По аналогии Пескову вспомнился консилиум и такое же внезапное появление этой сестры и то неожиданное известие, которое она принесла.

— Что вы хотели? — спросил генерал Луков.

— Доктора Голубева срочно к больному.

— Майор Голубев, идите.

Зал настороженно молчал. Голубев торопливо вышел. У Пескова захватило дух. Ощущение было, как на самолете, когда попадаешь в воздушную яму. «Что бы значил этот приход? Что он принес мне?»

На трибуну поднялся генерал Луков, заложил руки за спину и заговорил громким командным голосом:

— ...Мы не против критики, не против борьбы мнений, но все это надо делать честно, прямо, принципиально и преследовать одну цель — спасение жизни больного человека. Но когда в этой борьбе преследуют иногда не цели спасения жизни больного, а другие, мелкие, личные цели — заботу о своем самолюбии, авторитете — и жизнь человека кладется к ногам собственного тщеславия, — мы должны осудить такую борьбу. И мы решительно осуждаем ее. Я думаю, что все сидящие здесь врачи поддержат меня!

Из зала послышались одобрительные голоса.

Песков знал, что все смотрят сейчас на него, он чувствовал эти взгляды затылком, шеей, спиной, всем телом. Он ощущал их, как ожоги. Он внутренне сжался в комок и все душевные силы направил на одно: не выдать своего состояния. Он продолжал утешать себя все той же мыслью: «Пока не высказался начальник управления, я еще не разбит, еще есть надежда, приговор еще не объявлен».

И вот на трибуну вышел начальник управления.

— Товарищи офицеры, — начал он сипловатым голосом. — Сегодня у вас не совсем обычное совещание. И вопросы, которые вы разбираете, не совсем обычные.

«Господи, и этот тянет», — мучился Песков.

— Вопросы сегодня затронуты серьезные, принципиальные. Недостатков в нашей медицинской практике много, — продолжал начальник управления. — Прошло несколько месяцев после объединенной сессии о павловском учении, а у нас еще ничего не сделано. Поймите, товарищи, нельзя с неправильных позиций правильно решать вопросы, как нельзя поразить цель, если оружие не пристреляно. Тут некоторые товарищи называли себя учениками Ивана Петровича. Я вот послушал эти выступления и скажу прямо, — голос его звучал гневно, — не туда гнете, товарищи ученики. Искажаете великое учение.

Да, Иван Петрович не торопился делать выводы, любил кропотливую работу, проверял сотни раз, но он никогда не был трусом, никогда не боялся трудностей, ответственности. А вы? Вот вы, полковник Песков. У вас умирает человек, ему необходимо оказать помощь, а вы говорите: осторожно, не будем мешать ему спокойно умирать. А то еще, чего доброго, отвечать придется...

Песков больше ничего не слышал. Невидимая рука сдавила его сердце так, что впору было кричать.

— ...Это не частный случай. Он в некоторой мере типичен для группы товарищей, которые отстали, почили на лаврах и искусственно задерживают движение нашей медицины, — точно через стенку долетал до Пескова голос начальника управления.

Ему ничего сейчас так не хотелось, как уйти отсюда.

С трудом дождался он конца совещания, встал и, сторонясь людей, быстро пошел к себе.

В вестибюле стоял Аркадий Дмитриевич Брудаков. Увидев Пескова, он отвернулся к окну, будто не заметил своего начальника.

На лестнице Пескова обогнал Саляревский и, похлопав по плечу, прокричал ненатуральным голосом:

— Не горюй, старина!

Песков ничего не ответил.

Когда он вошел к себе в отделение и увидел дневального с красной повязкой, постовую сестру, больных в синих халатах, ему сделалось еще тяжелее. Он поспешил в свой кабинет.

В кабинете сидела дочь Ольга, с «авоськой» в руках, в накинутом на плечи халате. Халат был старый, застиранный, плохо проглаженный. Вид дочери был неприятен Пескову.

«Какая надоедливая! Не понимает, что мне надо побыть одному».

— Чего тебе? — буркнул он, подходя к столу.

— Трое суток тебя не было дома, я волновалась, — сказала Ольга.

— Ну и что? Зачем приходить? Я же не просил!

— Я принесла тебе поесть, и вот письмо из редакции.

Он почти вырвал письмо. Со злостью разорвал конверт, выдернул небольшой листок. Несколько раз пробежал глазами написанное, потом скомкал листок и швырнул его в угол.

Письмо было из редакции медицинского журнала. Ему сообщали, что статья его о гастритах не удовлетворяет требованиям редакции.

— Что с тобой, папа? — спросила Ольга, беря его за руку.

Он уловил, как дрогнул ее голос, и подумал, что должен скрыть от дочери свое состояние, успокоить ее. Он повернулся, хотел погладить ее по голове, но лишь притронулся к волосам и отрывисто сказал:

— Ничего, Олька.

Он назвал ее «Олька», так, как называл давно, в детстве.

Песков прошел к себе за стол, хотел сесть, но в это время дверь распахнулась и в кабинет влетел Голубев. Песков увидел его сияющее лицо, а за ним Цецилию Марковну с ее отвратительными ресницами и угодливой улыбочкой.

— Товарищ полковник! — выкрикнул Голубев. — У Сухачева упала температура, есть запросил.

— Ну и прекрасно, — сказал Песков, глядя себе под ноги. — Это я отношу за счет его богатырского здоровья. Вы... врачи... в данном случае ни при чем. Да-с!

34

Наступил торжественный день. Сухачеву разрешили вставать.

Он давно уже просил об этом, но Голубев все медлил, все оттягивал: «Окрепни. Отлежись». А чего отлеживаться, когда все хорошо! Температура нормальная, болей нет, рана закрылась. Только вот кожа по всему

телу шелушится. «Линяешь, к весне дело идет», — шутили товарищи. Им хорошо — они ходят. Какое счастье, когда человек может ходить. «Эх, пройти бы сейчас в строю с песней! Или по меже, на смену Егорке Воронову, к своему трактору побежать. Или, еще лучше, — при одной этой мысли у Сухачева замирало сердце, — с Настей потанцевать».

Так он лежал и мечтал все последние дни.

Наконец Голубев осмотрел его, осмотрел особенно тщательно, положил руку, как всегда, на лоб и сказал:

— Завтра, пожалуй, вставать попробуем. Завтра, Павлуша.

Завтра. Завтра — это так еще далеко: ужин, сон, подъем, умывание, завтрак, обход, — помереть можно, пока дождешься этого «завтра».

Сухачев плохо спал — снились страшные сны: будто бы он встал, а ноги не держат, тело валится; будто бы пошел, а вместо ног деревяшки — тук-тук-тук по полу. Он несколько раз просыпался, прислушивался — все было тихо, товарищи спали, новенький больной в углу стонал, над дверью горела синяя лампочка. В коридоре было светло, виднелась голова сестры в белой косынке. Дежурила Алла Афанасьевна. Она приподнялась, заглянула в окно, вошла в палату:

— Ты почему не спишь, Павел?

— Выспался. А сколько сейчас времени?

— Еще рано, пятнадцать минут шестого, спи.

Аллочка наклонилась, поправила одеяло. Сухачеву вдруг захотелось сделать сестре что-нибудь приятное за все хлопоты, за бессонные ночи. Он достал из-под подушки бумажник, вынул квитанцию:

— Алла Афанасьевна, у меня к вам большая просьба.

— Какая сейчас просьба, спи.

— Нет, пожалуйста.

— Ну, что?

— Утром получите деньги. И купите в магазине два шелковых платка — на голову. Хороших только. Ладно?

— Сделаю, но при условии, что будешь спать...

Утром Сухачев проснулся вместе со всеми, умылся, почистил зубы.

— Причешись, сынок. Волосы-то маленько отросли, — сказала Василиса Ивановна, протягивая Сухачеву свою гребенку.

К няне он относился, как к матери, посвящал в свои тайны, советовался.

— А смогу я ходить, Василиса Ивановна?

— Сможешь, сынок, сможешь. По первости неловко будет, а потом обвыкнешь.

Прошел завтрак. Больные вернулись в палату, сели возле своих коек в ожидании обхода. Объявили списки дневальных — сегодня была очередь палаты дежурить у телефона.

По коридору протарахтела каталка. Кого-то повезли в процедурную. Должно быть, из шестой — туда, говорят, прибыл тяжелый. Пришла смена. Сухачев увидел Ирину Петровну, подумал: «Хорошо бы платок белый — ей он пошел бы и Алле Афанасьевне тоже». Стуча каблучками, перед окнами промелькнула Цецилия Марковна. С пухлой папкой под мышкой прошествовал майор Дин-Мамедов. Прошел новый врач. А гвардии майора все не было. Сухачев забеспокоился. В голову полезли нехорошие мысли: то ему казалось, что Голубев заболел, то он решил, что Голубева назначили дежурить, то подумал, что его в командировку послали.

А когда доктор наконец пришел, Сухачев настолько переволновался, что даже не обрадовался.

— Как дела? — спросил Голубев, подходя к нему с веселой улыбкой и протягивая руку.

— Хорошо.

— Давайте-ка попробуем.

Аллочка с одной, Ирина Петровна с другой стороны стали поддерживать Сухачева. Он сел в кровати, спустил ноги — это он делал и раньше, — хотел встать и не мог, тело не слушалось его.

— Подайте тапочки, — распорядился Голубев. — Ну, Павлуша, вставай, не бойся.

Но ноги в коленях дрожали так, что это было всем заметно. Сухачев старался сдержать дрожь и не мог.

— Смелее, Павлуша, смелее, — говорил Голубев, легонько подталкивая его в спину.

Сухачев привык к тяжелой физической работе. Он носил мешки, пахал, работал по шестнадцать часов на тракторе, проходил за сутки по пятьдесят — шестьдесят километров, но никогда еще в жизни ему не было так трудно, как сейчас. А всего и нужно-то было — подняться, встать на собственные ноги.

С огромным трудом он оторвался от кровати.

— Распрямляйся, распрямляйся.

Сухачев медленно выпрямился и, цепко держась за сестер, вздохнул и радостно засмеялся. И все, кто был в палате — Голубев, больные, сестры, — тоже засмеялись.

— Вон ты какой молодец! — громко сказал Голубев. — Выше меня на целую голову. А когда лежал, казался маленьким. Ничего, стоишь. Стой крепко, твердо. Скоро ходить будешь.

Это был теплый, сияющий майский день. Необычная ранняя весна уже успела растопить снег, прогнать к реке бурные потоки талой воды, покрыть свежей, ярко-зеленой травкой землю. Весна заставила выставить вторые рамы, распахнуть окна. Город повеселел, встряхнулся после длинной, серой, мокрой зимы. Солнце украсило его, сделало наряднее, светлее и ярче. Солнце было везде: и на крышах, только что покрытых оцинкованным

железом, и на дверных начищенных ручках, и на мутновато-серой глади реки, и на трапе белого катерка, и на лицах людей. Солнце заглядывало в глаза людям и как бы кричало: «Смотрите, какая красота вокруг».

И хозяева города — люди, по-весеннему оживленные, быстрые, радостные, с самого утра заполняли улицы и проспекты.

Голубев проснулся в это утро раньше, чем обычно. Наташи уже не было в комнате. Девочки сладко спали. Он быстро оделся и вышел на кухню. Наташа в синем легком халатике возилась у газовой плиты.

— Ты чего это так рано?..— спросил он, но, увидев ее сияющее, помолодевшее лицо, тотчас вспомнил: сегодня у Наташи радостный день — она снова идет в клинику, на работу.

— Надо все приготовить, — сказала Наташа. — Валю в школу отправить, Наденьку — в садик, теперь...

Голубев не дал ей договорить, обнял и подвел к распахнутому окну. Перед окном на толстом проводе сидел воробышек и чистил перышки.

— Тоже на работу готовится, — сказал Голубев, и оба весело засмеялись...

Голубев решил пешком пройтись до площади, а там сесть в троллейбус и доехать до госпиталя. Настроение у него было превосходное. Он шел и улыбался солнцу, городу, прохожим.

В глаза Голубеву ударил ослепительный

луч. Он зажмурился и услышал звонкий смех. Открыв глаза, он увидел на подоконнике третьего этажа мальчишку с зеркалом в руках. Мальчишка сидел, уперев подбородок в голые острые колени, и обстреливал прохожих солнечными лучами. Голубеву захотелось забраться к этому мальчишке и вместе с ним пускать солнечных зайчиков.

Проходя по светлому, залитому солнцем коридору госпиталя, Голубев увидел Сухачева. Сухачев стоял у окна и, видимо, любовался чудесным днем. В палате было пусто. Больные завтракали.

Голубев накинул Сухачеву на плечи халат.

— Тепло, доктор, — сказал Сухачев.

— Тебе, Павлуша, лучше поберечься.

— Как хорошо-то, Леонид Васильевич.

Из окна виднелся сад. Молодые зеленые листочки радовали глаз. Внизу бил фонтан. Высокие струйки сверкали на солнце. Детишки играли в саду. Вдали над крышами виднелись подъемные краны, они без устали двигались.

— У нас уже сев кончают, — сообщил Сухачев. — Письмо из дому прислали. Мамаша и сестренка пишут. Вам большой привет.

— Спасибо. И от меня отпиши.

— И еще Игнат Петрович написал: вас от имени колхоза благодарит.

— И ему спасибо.

— А вот... — Сухачев на секунду замялся, — невесту мою видели?

Он сунул руку в карман и подал Голубеву аккуратно завернутую в газету фотографию с зазубренными краями.

— Славная девушка. Приедешь — женишься.

— Как придется... — Сухачев густо покраснел.

Послышалось тонкое протяжное гудение. Они подняли головы. В голубом небе, меж двух кудрявых тучек, появилась белая полоска, она все удлинялась, потом завернулась петлей и растаяла.

— Реактивный, — с восхищением сказал Сухачев.

В палату вошла Аллочка:

— Леонид Васильевич, вас начальник госпиталя вызывает.

— Павлуша, передай, чтобы не расходились, — наказал Голубев. — Вернусь — обход начну.

В приемной начальника госпиталя Голубев столкнулся с Песковым. Он поздоровался и пропустил Пескова вперед.

Генерал Луков предложил им сесть и сообщил:

— В одном из гарнизонных госпиталей появился точно такой же больной, как наш Сухачев. Они просят проконсультировать их. Возможно, придется побыть там две-три недели, практически помочь делу. Как вы на это смотрите, Иван Владимирович?

Песков медленно поднялся, покашлял.

— Гм... Я, собственно, вряд ли смогу быть консультантом. Дело в том, что я не сторонник метода лечения, имевшего место в нашем госпитале. Это вы знаете. Один случай меня не убедил. Это еще не правило. Да-с. Возможно, майор Голубев пожелает. Он ведь специалист по этому вопросу.

Генерал Луков поморщился и обратился к Голубеву:

— Что ж, уговаривать не будем. Поезжайте вы, гвардии майор.

— Слушаюсь.

— Можете идти, поезд отходит, кажется, часа через два. А вы, Иван Владимирович, подождите. У нас с вами серьезный разговор.

Выходя из кабинета, Голубев взглянул на покрывшееся пятнами лицо Пескова и подумал: «Неужели и там найдется такой же? Снова придется воевать... Ну что ж, если нужно, будем воевать...»

Когда Голубев вернулся в палату, Сухачев все еще стоял у окна. Голубев приблизился к нему и спокойно сказал:

— Павлуша, придется нам с тобой попрощаться.

Он заметил, как у Сухачева дрогнули брови, а лицо выразило испуг.

— Я еду в командировку, там точно такой же больной, как ты. Просят помочь. А ты через две недели дома будешь.

— Леонид Васильевич...

— Ничего, Павлуша, ты уже на своих ногах. Все будет хорошо.

Голубев машинально полез в карман за трубкой. Трубка ослепительно блеснула на солнце. Голубев секунду смотрел на нее и вдруг протянул Сухачеву:

— Возьми на память...

Выйдя на улицу, он оглянулся на госпиталь и увидел Сухачева.

Сухачев стоял у раскрытого окна и махал ему рукой.

1953—1955 гг.
Трускавец — Ленинград

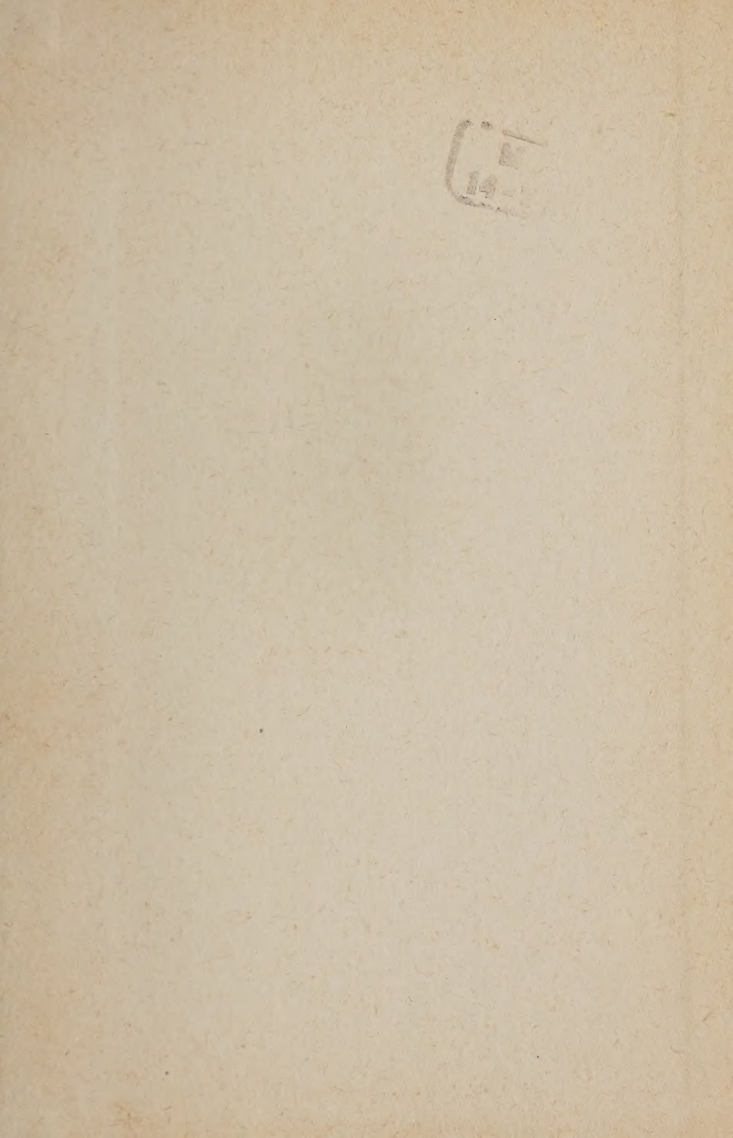
Дягилев Владимир Яковлевич
ДОКТОР ГОЛУБЕВ

Редактор *Г. В. Пагирев*
Художник *Э. И. Копелян.* Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *С. И. Брусиловская*
Корректоры *Е. А. Омельяненко* и *А. Г. Рабинова*

Сдано в набор 25/XI 1960 г. Подписано к печати 21/II 1961 г. Бумага 70 X 92[1]/32. Печ. л. 8,13 (9,51). Уч.-изд. л. 8,73. Тираж 150 000 экз. М-37082. Заказ № 1518. Цена 32 к.

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская ул., 26



32 к.

